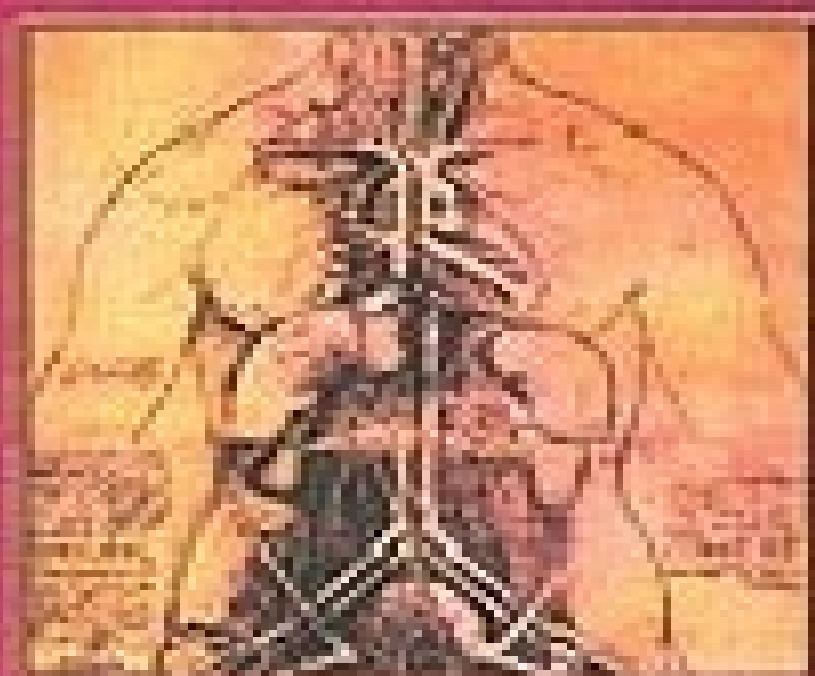


Посвящение XIX

ЧАК ПАЛАНИК



ИЗДАНИЕ

Собираетесь просветиться? Эпоха

Annotation

Новый шедевр «короля контркультурной прозы» Чака Паланика. Книга о молодом мошеннике, который каждодневно разыгрывает в дорогих ресторанах приступы удушья — и зарабатывает на этом неплохие деньги... Книга о сексоголиках, алкоголиках и шмоткаголиках. О любви, дружбе и философии. О сомнительном «втором пришествии» — и несомненной «невыносимой легкости бытия» наших дней. Впрочем... сам Паланик говорит о ней: «Собираетесь прочесть? Зря!» Короче — читайте на свой страх и риск!

- [Содержание](#)

-
- [Глава 1](#)
- [Глава 2](#)
- [Глава 3](#)
- [Глава 4](#)
- [Глава 5](#)
- [Глава 6](#)
- [Глава 7](#)
- [Глава 8](#)
- [Глава 9](#)
- [Глава 10](#)
- [Глава 11](#)
- [Глава 12](#)
- [Глава 13](#)
- [Глава 14](#)
- [Глава 15](#)
- [Глава 16](#)
- [Глава 17](#)
- [Глава 18](#)
- [Глава 19](#)
- [Глава 20](#)
- [Глава 21](#)
- [Глава 22](#)
- [Глава 23](#)
- [Глава 24](#)

- [Глава 25](#)
- [Глава 26](#)
- [Глава 27](#)
- [Глава 28](#)
- [Глава 29](#)
- [Глава 30](#)
- [Глава 31](#)
- [Глава 32](#)
- [Глава 33](#)
- [Глава 34](#)
- [Глава 35](#)
- [Глава 36](#)
- [Глава 37](#)
- [Глава 38](#)
- [Глава 39](#)
- [Глава 40](#)
- [Глава 41](#)
- [Глава 42](#)
- [Глава 43](#)
- [Глава 44](#)
- [Глава 45](#)
- [Глава 46](#)
- [Глава 47](#)
- [Глава 48](#)
- [Глава 49](#)

Содержание

Чак Паланик

Удушье

Забитым. На все времена.

Глава 1

Если вы собираетесь читать это — лучше не надо.

После парочки страниц вам здесь быть не захочется. Так что забудьте. Уходите. Валите отсюда, пока целы.

Спасайтесь.

Там сейчас по ящику точно идёт что-нибудь интересное. Или, раз уж у вас так навалом времени, пойдите в вечернюю школу. Выучитесь на врача. Станьте кем-нибудь. Пригласите себя поужинать. Покрасьте волосы.

Жизнь-то проходит.

То, что творится здесь, с самого начала выведет вас из себя. А дальше оно становится всё хуже и хуже.

Здесь вы найдёте глупую историю про глупого маленького мальчика. Глупую правду жизни такого человека, с каким вам не захочется знакомиться. Представьте себе: малолетняя отморозь под вершок ростом, на голове сноп русых волос, зачёсанных с пробором на одну сторону. Представьте: малолетний говняный сопляк улыбается со старых школьных фоток, обнажая отсутствующие местами молочные зубы и первый криво вылазющий взрослый. Представьте себе, что он одет в дебильный свитер в жёлто-голубую полоску, праздничный свитер, который был его любимым. Даже в том возрасте, представьте себе, он уже грызёт свои педерастические ногти. Его любимая обувь — кеды. Любимая еда — сраные корн-доги.

Представьте себе, как этот малолетний сопляк едет, не пристегнувшись, после обеда, в украденном школьном автобусе с мамочкой. Только вот возле их мотеля припаркована машина полиции, поэтому мамуля молча пролетает мимо на скорости шестьдесят-семьдесят миль в час.

Здесь рассказ про глупого малолетнего проныру, который, это уж точно, был чуть ли не тупейшим мелким хамоватым плаксой и стукачом-ябедой из всех, живших на свете.

Про малолетнего говнюка.

Мамуля говорит:

— Надо поторопиться, — и они въезжают на холм, по узкой тропе, задние колёса у них виляют туда-обратно на льду. В свете их фар снег кажется голубым, заполняет воздух у обочины дороги, идущей сквозь тёмный лес.

Представьте себе, что всё это — его вина. Малолетнего недоноска.

Мамуля останавливает автобус, чуть не доезжая до подножья скалистого утёса, и свет фар сияет, отражаясь от его белой грани, а она говорит:

— Вот досюда-то нам и надо, — и слова испаряются в воздух белым облаком, которое наглядно демонстрирует глубину её лёгких.

Мамуля ставит парковочный тормоз, и разрешает:

— Можешь выйти, но куртку оставь в автобусе.

Представьте себе, как этот глупый недомерок позволяет мамуле поставить себя прямо перед школьным автобусом. Как этот подлый мелкий Бенедикт Арнольд стоит, молча глядя в сияние фар, и даёт мамуле стянуть с себя через голову свой любимый свитер. Как этот трусливый малолетний нытик торчит молча полуголый под снегом, пока мотор автобуса тарахтит, и эхо отражается от скал, а мамуля исчезает где-то в ночи и холоде позади него. Фары слепят его, а шум мотора перекрывает все звуки деревьев, трущихся друг об друга на ветру. Воздух слишком морозный, чтобы вдыхать больше глотка за раз, поэтому эта малолетняя слизистая мембрана пытается дышать вдвое чаще.

Он не убегает. Он вообще ничего не делает.

Откуда-то позади слышен мамочкин голос:

— Теперь, что бы ни творил, не вертись.

Мамуля рассказывает ему, как когда-то давно в Древней Греции была прекрасная девушка, дочь гончара.

Как и всегда, когда она выбирается из тюрьмы и приходит его забрать, малыш и мамуля каждую ночь проводят в новом мотеле. Все их блюда — это фаст-фуд, и каждый день, целыми днями, они за рулём. Сегодня за ланчем малыш пытался съесть свой корн-дог, а тот был ещё очень горячий, и он проглотил почти весь, но тот застрял, и он не мог ни дышать, ни заговорить, пока мамуля обежала стол со своего места.

Потом две руки обхватили его сзади, оторвали от пола, и мамуля зашептала:

— Дыши! Дыши, чёрт возьми!

После этого малыш заплакал, а весь ресторан столпился вокруг.

В этот миг казалось, что целому миру безразлично то, что с ним случилось. Все те люди обнимали его и гладили по голове. Все спрашивали, всё ли с ним в порядке.

Казалось, что этот миг может тянуться вечно. Что стоит рисковать жизнью, чтобы заработать любовь. Что нужно подойти к самой черте смерти, чтобы получить хоть какое-то спасение.

— Хорошо. Вот, — сказала мамуля, вытирая ему губы. — Теперь я

дала тебе жизнь.

В следующий миг официантка опознала его по фотографии на старом пакете из-под молока, а потом мамуля везла гнусного малолетнего нытика обратно в номер мотеля на скорости в семьдесят миль в час.

На обратном пути они съехали с шоссе и купили баллон чёрной краски.

Даже после такой беготни они добрались только в глубину ничто, в глубину ночи.

Теперь этот глупый мальчик слышит сзади, как мамуля гремит баллоном краски: когда трясёт его, камешек внутри бьётся о разные концы, а мамуля рассказывает, что древнегреческая девушка была влюблена в юношу.

— Но тот юноша был из других краёв и должен был туда вернуться.

Раздаётся шипящий звук, и маленький мальчик чует запах краски. Мотор автобуса меняет тон, глухо ухает, и потом тарахтит быстрее и громче, и автобус немного трясётся, покачиваясь на покрышках.

И в ту ночь, когда юноша и девушка в последний раз были вместе, рассказывает мамуля, девушка принесла с собой лампу и поставила её так, чтобы тень возлюбленного падала на стену.

Краска из баллона замолкает, потом шипит снова. Сначала короткое шипение, потом длинное.

А мамуля говорит, что девушка обвела тень возлюбленного по контуру, чтобы у неё навсегда осталось свидетельство того, как он выглядел, документация этого текущего момента, последнего момента, в котором они будут вместе.

Наш малолетний плакса продолжает молча смотреть, уткнувшись в сияние фар. Глаза у него слезятся, и закрыв их, он видит сияние огней в красном цвете, прямо сквозь веки, сквозь собственную плоть и кровь.

А мамуля говорит, что на следующий день возлюбленный девушки ушёл, но его тень по-прежнему была на месте.

На секундочку малыш оглядывается назад, где мамочка обводит по контуру его глупую тень на грани утёса, только мальчик стоит так далеко, что его тень получается на голову выше матери. Его тощие ручонки кажутся широкими в обхвате. Его кряжистые ножки — длинными и вытянутыми. Его узенькие плечи — широко расправленными.

А мамуля говорит ему:

— Не смотри. Не шевели ни мышцей, иначе испортишь всю мою работу.

И это придурковатое малолетнее трепло отворачивается смотреть на

фары.

Шипит баллон с краской, а мамуля говорит, что до греков никто не знал живописи. Вот так было изобретено рисование картин. Рассказывает историю о том, как отец девушки при помощи контура на стене воссоздал глиняный вариант юноши, и вот так изобрели скульптуру.

На полном серьёзе, мамуля сказала ему:

— Искусство никогда не является из счастья.

Вот так рождаются условности.

Теперь малыш стоит и дрожит в сиянии фар, пытаясь не шевелиться, а мамуля продолжает работу, рассказывая здоровенной тени, что когда-нибудь та научит людей всему, чему она её научила. Когда-нибудь она станет врачом и будет спасать людей. Возвращать им счастье. Или даже что-то большее, чем счастье — покой.

Её будут уважать.

Когда-нибудь.

Это даже после того, как Пасхальный Кролик оказался враньём. Даже после Санта-Клауса, Зубной Феи, святого Кристофера, ньютоновой физики и атомной модели Нильса Бора, этот глупый-преглупый малыш по-прежнему верил мамочке.

Когда-нибудь, когда станет большим, рассказывала мамуля тени, малыш вернётся сюда и увидит, как дорос точно до контура, который она запланировала для него в эту ночь.

Голые руки малыша тряслись от холода.

А мамуля сказала:

— Совладай с собой, чёрт возьми. Стой смирно, или всё испортишь.

И малыш пытался ощутить тепло, но какими бы яркими не были фары, они ни капли не грели.

— Мне нужно сделать чёткий контур, — поясняла мамуля. — Будешь дрожать — окажешься размытым.

Только по прошествии многих лет, пока этот глупый малолетний бездельник не закончил с отличием колледж, и не зарабатывал себе горб, чтобы поступить на медицинский факультет Южно-Калифорнийского Университета, — когда ему стукнуло двадцать четыре, и он был на втором курсе медфака, когда его мать положили в больницу, а его назначили опекуном, — только тогда на эту безвольную малолетнюю тряпку снизошло озарение, что стать сильным, богатым и серьёзным — это дело только половины жизненного пути.

А сейчас уши малыша болят от холода. Он чувствует, что задыхается, и у него кружится голова. Узенькая грудь этого малолетнего стукача вся в

мурашках гусиной кожи. Его соски торчат от холода маленькими красными прыщиками, и малолетний эякулянт говорит себе: «На самом деле я это заслужил».

А мамуля просит:

— Постарайся хотя бы стоять ровно.

Малыш отводит плечи назад, и представляет, что фары — строй солдат на расстреле. Он заслуживает воспаление лёгких. Он заслуживает туберкулёз.

См. также: Гипотермия.

См. также: Тифозная лихорадка.

А мамочка говорит:

— Завтра с утра меня рядом уже не будет, и донимать тебя будет некому.

Мотор автобуса крутится вхолостую, извергая длинный смерч синего дыма.

А мамочка говорит:

— Поэтому стой ровно, и не заставляй меня тебе всыпать.

И ведь ступудово: это малолетнее отребье заслуживало того, чтобы ему всыпали. Он заслуживал всё, что бы ни получил. Этот задуренный малолетний баран, который на полном серьёзе считал, что будущее может стать лучше. Если просто достаточно поработать. Если достаточно много учиться. Бегать достаточно быстро. Всё пойдёт на лад, и жизнь к чему-то сложится.

Налетает порыв ветра, и сухая снежная крупа сыплется с деревьев, вонзаясь каждой снежинкой ему в уши и щёки. Снег продолжает таять между шнурков его обуви.

— Увидишь, — говорит мамуля. — Оно будет стоять того, чтобы чуть потерпеть.

Это станет историей, которую он сможет рассказать своему собственному сыну. Когда-нибудь.

Древняя девушка, рассказывает мамуля, больше ни разу не видела своего возлюбленного.

И малыш настолько глуп, что может думать, будто какая-то картина, статуя или история могут как-то заменить любимого человека.

А мамуля говорит:

— У тебя ещё так много всего впереди.

Глотать трудно, но это же глупый, ленивый, позорный маленький мальчик, который стоял и дрожал молча, щурясь на сияние и рычание, и который думал, что будущее окажется прямо таким уж светлым.

Представьте кого-то, кто взрослеет настолько дурным, что даже не знает, что надежда — просто очередная фаза, из которой рано или поздно вырастают. Кто считает, что можно создать что-то, — что угодно, — что продлится вечно.

Кажется глупым даже припоминать такие вещи.

Так что повторяю: если вы собрались читать это — не надо.

Здесь не про кого-то храброго, доброго и преданного. Он не тот, в какого вам захочется влюбляться.

Просто чтоб вы знали: читаете вы полную и безжалостную исповедь человека с зависимостью. Ведь почти во всех программах реабилитации из двадцати шагов, на четвёртом шаге нужно составить опись своей жизни. Каждый уродский, говёный момент своей жизни нужно взять и записать в блокнот. Полный перечень собственных преступлений. Таким образом, каждый грех окажется у вас прямо на кончике пера. А потом надо все их загладить. Это касается алкоголиков, злостных наркоманов и обжор в той же мере, как и сексуально озабоченных.

Таким образом, можно в любое желаемое время вернуться назад и пересмотреть всё худшее в своей жизни.

Потому что, как говорят, кто забывает прошлое, обречён его повторять.

Так что если вы это читаете, скажу честно: вас ничего из этого не касается.

Тот глупый маленький мальчик, та холодная ночь, — всё оно со временем станет лишь новым идиотским дерьмом, о котором можно думать во время секса, чтобы не спустить заряд раньше времени. Это если вы парень.

Мамочка говорит нашему слабенькому малолетнему дристу:

— Подержись ещё немножечко, просто будь чуть упорнее, и всё будет хорошо.

Ха!

Мамуля, которая говорила:

— Когда-нибудь оно будет стоить всех наших усилий, я обещаю.

И этот малолетний обсос, этот глупый-преглупый маленький сосунок, который стоял всё то время на месте и трясся полуголый под снегом, и в самом деле веря, что кто-то способен даже пообещать что-то настолько невероятное.

Так что если вы считаете, что оно пойдёт вам на пользу...

Если вы считаете, что вам вообще что-нибудь пойдёт на пользу...

Считайте, пожалуйста, что это ваше последнее предупреждение.

Глава 2

Уже успело стемнеть, и начался дождь, пока я добрался до церкви, а Нико тут как тут, ждёт, пока откроют боковую дверь, от холода обвив руками свои бока.

— Потаскай это для меня с собой, — говорит она, вручая мне пригоршню шёлка.

— Всего пару часиков, — просит она. — У меня нету карманов.

Она одета в куртку из какой-то искусственной рыжей замши с воротом из ярко-рыжего меха. Из-под той торчит подол её платья в цветочек. Колготок на ней нет. Она взбирается по сходням ко двери церкви, осторожно переставляя развёрнутые в стороны ноги в туфлях на чёрной шпильке.

То, что она дала мне — тёплое и сырое.

Это её трусики. И она улыбается.

За стеклянными дверьми женщина, которая елозит туда-сюда шваброй. Нико стучится в стекло, потом показывает на свои наручные часы. Женщина окунает швабру в ведро. Поднимает её и выжимает тряпку. Прислоняет швабру ручкой к двери и выуживает из халата связку ключей. Открывая дверь, женщина кричит через стекло.

— Ваши сегодня в комнате 234, — объявляет женщина. — В классе воскресной школы.

Сейчас на стоянке уже больше народу. Люди взбираются по сходням, говорят «привет», а я заталкиваю трусики Нико себе в карман. Позади меня другие вприпрыжку пролетают несколько ступеней, чтобы поймать дверь, пока та не захлопнулась. Хотите верьте, хотите нет, но все здесь вам знакомы.

Эти люди — легенды. О каждом из этих мужчин и женщин вы слушали истории на протяжении многих лет.

В 1950-х ведущий производитель вакуумных пылесосов попробовал немного усовершенствовать дизайн. Они добавили крутящийся пропеллер из острых как бритва лезвий, установленный в шланге на глубине в несколько дюймов. Напор воздуха раскрутит лезвия, а те порубят любую пылинку, нитку или шерстинку домашнего питомца, которая могла бы застрять в шланге.

По крайней мере, так гласил проект.

А случилось то, что куча этих мужчин прискакала в неотложку с

изувеченными членами.

По крайней мере, так гласит миф.

Та старая городская легенда, про вечеринку с сюрпризом для хорошенькой домохозяйки: когда все её друзья с семьёй спрятались в одной комнате, а когда ворвались и заорали «С днём рожденья!», то обнаружили её вытянувшейся на диване, а семейная собака слизывала арахисовое масло у неё между ног...

Ну, эта так точно настоящая.

Легендарная женщина, которая отсасывала у парней за рулём, и раз один парень теряет управление машиной и бьёт по тормозам так резко, что она откусывает ему половину, — я их знаю.

Эти мужчины и женщины — все здесь.

Эти люди — причина того, что в каждой неотложке есть дрель с алмазным сверлом. Чтобы просверлить толстое донышко бутылки из-под шампанского или содовой. Чтобы освободить всасывание.

Эти люди толпами вваливаются среди ночи, рассказывая, как они споткнулись и упали на кабачок, лампочку, куклу Барби, бильярдные шары, сопротивляющегося хомячка.

См. также: Бильярдный кий.

См. также: Плюшевая зверушка.

Они поскользнулись в душе и падали, прямо дуплом, на скользкий тюбик шампуня. На них вечно нападают неизвестные личности, вооружённые свечками, мячами для бейсбола, сваренными вкрутую яйцами, фонариками и отвёртками, которые теперь нужно извлечь. Здесь ребята, которые застряют в сливном отверстии своей горячей ванны.

На полпути вглубь по коридору к двери комнаты 234, Нико тянет меня к стене. Ждёт, пока мимо нас пройдёт несколько человек, и говорит:

— Я знаю, куда можно пойти.

Все остальные идут в класс воскресной школы в пастельных тонах, а Нико улыбается им вслед. Она крутит пальцем у виска, в международном знаке для обозначения психов, и говорит:

— Несчастные.

Она тянет меня в другую сторону, к табличке, гласящей «Женский».

Среди народа в комнате 234 есть самозванный районный сотрудник охраны здоровья, который звонит и опрашивает четырнадцатилетних девочек на тему наличия у них влагища.

Здесь есть девушка-массовик, у которой было вздутие живота, и там нашли фунт спермы. Её зовут Лу-Энн.

Здесь парень из кинотеатра, продевавший член сквозь дно коробки

попкорна, — зовите его Стив, — и по вечерам его повинная задница сидит у заляпанного краской стола, втиснувшись в детский пластмассовый школьный стульчик.

Всё это люди, которых вы считали большим приколом. Вперед, ржите, пока не надорвёте к чертям свой чёртов живот.

Это сексуально озабоченные.

Всё это люди, которых вы считали городскими байками, — ну, вот они, всамделишные. С самыми настоящими именами и лицами. Работами и семьями. Учёными степенями и полицейскими досье.

В женском туалете Нико прижимает меня к холодной плитке стены и усаживается мне на пояс, пытаясь извлечь из штанов. Другой рукой Нико обнимает мой затылок и тянет моё лицо, открытый рот, навстречу своему. Её язык борется с моим, она разогревает мне головку поршня большим пальцем руки. Сталкивает джинсы у меня с бёдер. Сидя, приподнимает подол своего платья, прикрыв глаза и немного отклонив назад голову, плотно пристраивает свой лобок к моему и бормочет что-то сбоку мне в шею.

Говорю:

— Боже, как ты прекрасна, — потому что несколько последующих минут такое позволительно.

А Нико подаётся назад, смотрит на меня и спрашивает:

— Это ещё что значит?

А я в ответ:

— Не знаю, — говорю. — Да ничего вроде, — говорю. — Забудь.

Плитка пахнет дезинфекцией и шероховато трёт мне зад. Стены поднимаются кверху, к потолку из звукоизолирующей плитки и отдушинам, покрытым пылью и грязью. Характерный запах крови от ржавой железной коробки для использованных салфеток.

— Свою справку об освобождении, — вспоминаю. Щёлкаю пальцами. — Принесла?

Нико чуть поднимает бёдра, потом роняет их, подтягивается и усаживается. Голова её по-прежнему откинута назад, глаза всё ещё закрыты, — она роется в корсаже платья, выуживает сложенный из голубой бумаги квадратик и бросает мне его на грудь.

Говорю:

— Умница, — и отцепляю авторучку от кармана своей рубашки.

Нико поднимает бёдра чуть выше с каждым разом, потом крепко усаживается. Немного трётся взад и вперёд. Пристроив по руке на каждое бёдро, подталкивается вверх, после падает вниз.

— «Вокруг света», — прошу я. — «Вокруг света», Нико.

Она приоткрывает глаза где-то наполовину и смотрит на меня сверху, а я болтаю в воздухе авторучкой, как вы помешиваете чашку кофе. Даже через одежду на моей спине отпечатывается узор канавок между плиткой.

— Давай, «вокруг света», — прошу. — Сделай мне такое, крошка.

И Нико закрывает глаза, задирая юбку у талии обеими руками. Пристраивает весь свой вес на мои бёдра и переносит одну ногу мне через живот. Потом переносит вторую, оставаясь сидеть на мне, но уже лицом к моим ногам.

— Хорошо, — говорю я, разворачивая голубой листок бумаги. Разглаживаю его на её выгнутой дугой спине и вписываю своё имя внизу, в графе, гласящей «поручитель». Сквозь платье чувствуется широкий ремешок её лифчика: резинка с пятью или шестью проволочными крючками. Чувствуются её рёбра под толстым слоем мышц.

Прямо в этот миг, вглубь по холлу, в комнате 234, сидит девушка кузена вашего лучшего друга, та девчонка, которая чуть не до смерти долбила себя на ручке коробки передач в «Форте Пинто» после того, как поела «шпанской мушки». Её зовут Мэнди.

Здесь парень, который раз пробрался в клинику в белом халате и сдавал экзамен по тазобедренной области.

Здесь парень, который в номере своего отеля вечно валяется голым на покрывалах, с утренним стояком, и ждёт, когда войдёт горничная.

Все эти известные по слухам знакомые знакомых знакомых... все они здесь.

Мужчина, искалеченный автоматической электродоилкой, — его зовут Говард.

Девушка, висевшая в душевой на штанге для занавески, полумёртвая от аутоэротического удушья, — это Пола, и она сексоголичка.

Скажите — «Привет, Пола».

Давайте сюда своих любителей тереться в метро. Давайте своих любителей распахивать плащи.

Мужчина, который устанавливает камеры под ободком унитаза в женских туалетах.

Парень, который щекочет хозяйство об откидные листы депозитных графиков в автоматических справочных.

Все любители подглядывать. Нимфоманки. Грязные старикашки. Туалетные партизаны. Кулачные бойцы.

Все те сексуальные страшилища и страшилки, насчёт которых вас предупреждала мамочка. Все те ужасные поучительные истории.

Все мы здесь. Живём и бедствуем.

Это двадцатишаговый мир сексуальной зависимости. Сексуально-озабоченного поведения. Вечером каждого дня недели они встречаются в задней комнате какой-нибудь церкви. В разных конференц-залах общественных центров. Каждую ночь, в каждом городе. Есть даже виртуальные собрания в Интернете.

Моего лучшего друга, Дэнни, я встретил на собрании сексоголиков. Дэнни дошёл до того, что ему нужно было мастурбировать раз по пятнадцать на день, чтобы хоть остановиться. Кроме того, у него уже еле сжимались пальцы, и он переживал насчёт того, что с ним может случиться от вазелина за такой долгий срок.

Он пытался перейти на какую-нибудь мазь, но всё сделанное для смягчения кожи, казалось, работало как раз наоборот.

Дэнни и все те мужчины с женщинами, которых вы считаете такими жуткими, смешными или жалкими людьми, — все они здесь ослабляют пояса. Сюда мы все приходим открыться.

Сюда приходят на время трёхчасовой отлучки проститутки и сексуальные преступники из тюрем минимально строгого режима, которые сидят рука-об-руку с любительницами групповух и мужиками, берущими в рот по магазинам эротической литературы. Шлюха здесь объединяется с клиентом. Растлитель предстаёт перед растлённым.

Нико подтягивает гладкий белый зад почти к основанию моего поршня, потом срывается вниз. Вверх — и вниз. Катается, туго обхватив меня внутренностями по всей длине. Выстреливая вверх, потом швыряя себя вниз. Мышцы её рук, которыми она отталкивается от моих бёдер, всё набухают. Бёдра у меня немеют и белеют в её руках.

— Теперь, когда мы друг друга знаем, — спрашиваю. — Нико? Что скажешь, нравлюсь я тебе?

Она оборачивается и смотрит на меня через плечо:

— Когда будешь врачом, ты сможешь выписывать рецепты на что угодно, так?

Это если я когда-нибудь решу вернуться к учёбе. Не стоит недооценивать то, как медицинская степень может помочь тебе уложить кого-нибудь в койку. Поднимаю руки, пристраивая каждую ладонь поверх натянутой гладкой кожи на боках её бёдер. Вроде как, чтобы помогать ей подтягиваться, — а она пропускает свои прохладные мягкие пальцы сквозь мои.

Туго напялившись на мой поршень, не оглядываясь, сообщает:

— Друзья поспорили со мной на деньги, что ты уже давно женат.

Держу её гладкую белую задницу в руках.

— Сколько денег? — спрашиваю.

Объясняю Нико, что её друзья могут оказаться правы.

Ведь, по правде, любой сын, воспитанный матерью-одиночкой, в каком-то смысле родился женатым. Я не уверен, но похоже, пока мама твоя не умрёт, любая другая женщина в твоей жизни может стать только сторонней любовницей.

В современной мифе про Эдипа — именно мать убивает отца и забирает сына.

И никак не выйдет развестись со своей матерью.

Или убить её.

А Нико спрашивает:

— Что ещё значит — любая другая женщина? Боже, это сколько же их? — говорит. — Рада, что мы с резинкой.

На предмет полного списка сексуальных партнёров мне пришлось бы свериться со своим четвёртым шагом. Заглянуть в блокнот с полной моральной описью. С полной и беспощадной историей моей зависимости.

Это если я когда-нибудь решу вернуться, чтобы завершить тот чёртов шаг.

Для людей, которые торчат в комнате 234, работа по двадцати шагам на собраниях сексоголиков — это ценный важный инструмент в понимании и излечении от... ну, вы поняли.

А для меня — это потряснейший практический семинар. Тут подсказки. Технические тонкости. Стратегии, позволяющие трахнуться так, как и не мечталось. Ведь эти зависимые, когда рассказывают свои истории, — они же, чёрт возьми, великолепны. Плюс тут девочки-заключённые, выпущенные из тюрем на три часа сексоманской терапии общения.

Нико в том числе.

Вечера по средам означают Нико. Вечера пятницы значат Таня. По воскресеньям — Лиза. Лиза потеет жёлтым от никотина. Её талию можно почти обхватить руками, когда пресс её каменеет в кашле. Таня вечно протаскивает какую-нибудь резиновую игрушку для секса: обычно самотык или нитку резиновых бус. Какой-то сексуальный эквивалент сюрприза в коробке с сухарями.

Старый принцип, мол, красота — радость навеки: а вот по моему личному опыту даже самая раскрасивая красавица — радость только на три часа, это предел. Потом ведь она захочет рассказать тебе обо всех своих травмах детства. Один из приятных моментов во встречах с девчонкой из

тюрьмы — кайф от мысли, что смотришь на часы, и знаешь: через полчаса она уже будет за решёткой.

Та же история про Золушку, только в полночь она снова превращается в преступницу.

Я не говорю, что не люблю этих женщин. Я люблю их так же, как вы любите фото на развороте журнала, видео где трахаются, веб-сайт для взрослых, — и, конечно, для сексоголика такое может показаться полным вагоном любви. Опять же, не скажу, что меня любит Нико.

Такое — не столько роман, сколько случай. Рассаживаешь двадцать сексоголиков вокруг стола вечер за вечером — и нечему тут удивляться.

Плюс тут продают лечебные пособия для сексоголиков, в которых все способы затащить кого-то в койку, о которых даже понятия не имеешь. Ну конечно, на самом деле оно должно помочь тебе осознать, что ты подсел на секс. Всё передаётся в списках вопросов типа — «если делаете что-то из нижеприведенного, вы можете оказаться сексоголиком». Среди этих полезных подсказок есть такие:

«Вы подрезаете подкладку купального халата, чтобы были заметны ваши гениталии?»

«Вы оставляете расстёгнутой ширинку или блузку, и притворяетесь, что ведёте переговоры в телефонной будке, стоя в распахнутой одежде без нижнего белья?»

«Вы бегаєте без лифчика или атлетической подвязки в целях привлечения сексуальных партнёров?»

Мой ответ на всё вышеперечисленное — «Ну что же, теперь — да!»

Плюс то, что здесь быть извращенцем — не твоя вина. Сексуально-озабоченное поведение не заключается в постоянном желании, чтобы тебе отсосали член. Это болезнь. Это физическая зависимость, которая только и ждёт персонального кодового номера от «Справочника статистической диагностики» и включения стоимости лечения в медицинскую страховку.

Речь о том, что даже Билл Вильсон, основатель «Анонимных алкоголиков» не смог перебороть в себе похотливую обезьяну, и всю свою трезвую жизнь провёл, обманывая жену и исполнившись чувством вины.

Речь о том, что сексоманы приобретают зависимость от химических веществ, вырабатываемых телом при постоянном занятии сексом. Оргазмы наполняют тело эндорфинами, которые оказывают обезболивающее и транквилизирующее воздействие. На самом деле сексоманы сидят на эндорфинах, а не на сексе. У сексоманов снижен естественный уровень оксидазы моноамина. В действительности сексоманы жаждут пептида фенилэтиламина, прилив которого может вызвать страсть, опасность, риск

и страх.

Для сексомана собственные сиськи, собственный член, собственный язык, клитор или дупло — это героиновый укол, который всегда под рукой, всегда готов к применению. Мы с Нико любим друг друга так же, как любой наркет любит свою дозу.

Нико крепко подаётся назад и трёт мой поршень о переднюю стенку её внутренностей, работая над собой двумя влажными пальцами.

Спрашиваю:

— А что если войдёт та уборщица?

И Нико вертит меня в себе туда-сюда и отзывается:

— О да. Это был бы такой кайф.

А я вот даже представить себе боюсь, какой же большой блестящий отпечаток задницы мы натёрли на полированной воском плитке. Ряд раковин вон покосился. Лампы дневного света мерцают, и в отражении на хромированных поверхностях патрубков под каждой из раковин можно разглядеть глотку Нико в виде длинной прямой трубы; голова у неё откинута, глаза закрыты, её дыхание пыхтит о поверхность пола. Груд у неё обтянута материей с рисунком цветочков. Язык свисает набок. Сок, который из неё проступает, обжигает горяч.

Чтобы не кончить, я спрашиваю:

— А предкам своим ты что про нас рассказывала?

А Нико отвечает:

— Они хотят с тобой познакомиться.

Придумываю, что бы такое помощнее сказать дальше, но на самом деле это не важно. Здесь можно рассказывать о чём угодно. Про клизмы, про оргии, про животных, признаться в любом непотребстве, — и никогда никого не удивишь.

В комнате 234 все сравнивают боевые похождения. Каждый начинает по очереди. Это первая часть собрания, регистрационная.

После этого они прочтут чтения, всяческие там молитвы, обсудят тему на вечер. Каждый работает над одним из двадцати шагов. Первый шаг — признать себя бессильным. Да, у тебя зависимость, и тебе не остановиться. Первый шаг значит рассказать свою историю, все худшие моменты. Свои самые низменные низости.

Беда с сексом такая же, как и с любой другой зависимостью. Ты постоянно реабилитируешься. Потом постоянно скатываешься. Снова занимаешься этим. Пока не найдёшь вещь, за которую можно бороться, никогда не начнёшь бороться против чего-то. Все те люди, которые заявляют, что хотят жить свободной жизнью, без сексуальной

озабоченности, я хочу сказать — да плюньте на такое. Я хочу сказать — да что вообще может быть лучше секса?

Наверняка ведь даже самый паршивый минет лучше, чем, скажем, нюхать самую лучшую из роз,...там, смотреть самый прекрасный закат. Слушать смех детей.

Уверен, никогда ведь не увижу стих, способный сравниться по прелести с горячо бьющим, жопосводящим, кишкораздирающим оргазмом.

Рисование картин, сочинение опер, — это же всё вещи, которыми занимаются, пока не найдут, куда кинуть очередную палку.

В ту минуту, когда наткнётесь на что-нибудь получше секса, позвоните мне. Скиньте на пейджер.

Никто среди людей, сидящих в комнате 234, не Ромео, не Казанова и не Дон Жуан. Здесь нет Мата Хари и Саломей. Здесь люди, которым вы ежедневно пожимаете руки. Не уроды и не красавцы. Рядом с этими легендами вы стоите в кабине лифта. Они подают вам кофе. Эти мифологические существа пробивают вам билетки. Выдают деньги по чеку. Кладут на ваш язык облатку причастия.

В помещении женского туалета, внутри Нико, я закидываю руки за голову.

Дальше, не знаю сколько времени, для меня нет проблем в целом мире. Ни матери. Ни медицинских счетов. Ни дерьмовой работёнки в музее. Ни лучшего друга-дрочилы. Ничего.

Ничего не чувствую.

Чтобы всё продлилось дольше, чтобы не кончить, я рассказываю цветастой заднице Нико, как она прекрасна, как она мила и как нужна мне. Её волосы и кожа. Чтобы всё продлилось дольше. Потому что это единственный момент, когда я могу сказать такое. Потому что в тот миг, когда всё кончится, мы возненавидим друг друга. В тот миг, когда мы обнаружим себя замёрзшими и потными на полу сортира, в миг, когда мы оба кончим, смотреть нам больше друг на друга не захочется.

Единственные, которого мы возненавидим больше друг друга — это мы сами.

Вот единственные несколько минут, когда я могу побыть человеком.

Только в эти минуты мне не одиноко.

И, продолжая скакать на мне вверх-вниз, Нико спрашивает:

— Так когда мне идти знакомиться с твоей мамой?

И:

— Никогда, — отвечаю я. — То есть, это невозможно.

А Нико, всем своим телом сжимающая меня и выдавливающая своими

кипящими влажными внутренностями, спрашивает:

— Она в тюрьме, или в дурке, или что?

Да-да, почти всю жизнь проторчала.

Спросите парня про его маму во время секса — и большой взрыв можно задержать навсегда.

Нико спрашивает:

— Так она что, уже умерла?

А я отвечаю:

— Вроде того.

Глава 3

Теперь уже, когда иду навещать свою маму, я даже не прикидываюсь собой.

Чёрт, я даже не прикидываюсь, будто близко с собой знаком.

Уже нет.

У моей мамы, похоже, единственное занятие на данный момент — терять вес. То, что от неё осталось — настолько худое, что она кажется куклой. Каким-то спецэффектом. У неё уже просто не хватит жёлтой кожи, чтобы туда поместился живой человек. Её тонкие кукольные ручки шарят по одеялу, постоянно подбирая кусочки пуха. Её сморщенная голова вот-вот развалится у питьевой соломинки во рту. Когда я приходил в роли себя, в роли её сына, Виктора Манчини, ни один из тех визитов не длился дольше десяти минут: потом она звонила, вызывала медсестру, и говорила мне, что, мол, очень устала.

Потом, в одну из недель, мама решила, что я какой-то назначенный судом государственный защитник, представлявший её интересы пару раз — Фред Гастингс. Её лицо распахивается навстречу, когда она замечает меня, потом она укладывается назад, на кучу подушек, и слегка качает головой со словами:

— О, Фред, — говорит. — Мои отпечатки были по всем тем коробкам краски для волос. Это было дело о создании угрозы по небрежности, его открыли и закрыли, но всё равно — получилась потрясающая социально-политическая акция.

Отвечаю ей, что на магазинных камерах безопасности всё выглядело по-другому.

Плюс там было обвинение в похищении ребёнка. Тоже в записи на видеоленте.

А она смеётся, в самом деле смеётся, и говорит:

— Фред, и ты был таким дурачком, что пытался меня спасти.

В таком духе она болтает полчаса, в основном про то происшествие с перепутанной краской для волос. Потом просит меня принести газету из зала.

В коридоре возле её комнаты стоит какая-то врач, женщина в белом халате с планшеткой в руках. Длинные чёрные волосы у неё скручены на затылке в нечто, напоминающее по форме маленький чёрный мозг. Она без косметики, поэтому лицо её смотрится как нормальная кожа. Из нагрудного

кармана торчит чёрная оправа сложенных очков.

Не ей ли назначена миссис Манчини, спрашиваю я.

Женщина-врач заглядывает в планшечку. Раскрывает очки, напяливает их и снова смотрит, всё время повторяя:

— Миссис Манчини, миссис Манчини, миссис Манчини...

Рукой непрерывно выщёлкивает и отщёлкивает шариковую ручку.

Спрашиваю:

— Почему она всё время теряет вес?

Кожа вдоль просветов её причёски, кожа над и под ушами докторши так чиста и бела, как должна выглядеть и кожа в других её просветах. Если бы женщины знали, как воспринимаются их уши: этот упругий край из плоти, маленький оттенённый капюшончик сверху, все эти гладкие линии, спиралью влекущие в тугие тёмные внутренности, — да, пожалуй, большая часть женщин ходила бы со спущенными волосами.

— Миссис Манчини, — объясняет мне эта. — Нужна трубка для питания. Она чувствует голод, но забыла, что означает это чувство. Следовательно, не ест.

Спрашиваю:

— Ну, а сколько такая трубка будет стоить?

Медсестра зовёт по коридору:

— Пэйж?

Женщина-врач разглядывает меня, одетого в бриджи и камзол, в напудренный парик и башмаки с пряжками, спрашивает:

— И кто же вы такой?

Сестра зовёт:

— Мисс Маршалл?

Про мою работу тут слишком долго рассказывать.

— Я вроде как представитель трудового народа ранней колониальной Америки.

— Какой ещё? — спрашивает она.

— Ирландский наёмный слуга.

Она смотрит на меня молча, покачивая головой. Потом опускает взгляд на диаграмму.

— Либо мы поставим ей в желудок трубку, — говорит врач. — Либо она умрёт с голоду.

Заглядываю в тёмные тайны, сокрытые во внутренностях её уха, и спрашиваю — может, лучше рассмотрим ещё какие-нибудь варианты?

Вглубь по коридору стоит медсестра, и кричит, уперев в бока кулаки:

— Мисс Маршалл!

А врач вздрагивает. Поднимает указательный палец, чтобы я замолчал, и просит:

— Послушайте, — говорит. — Мне в самом деле нужно идти завершать обход. Давайте продолжим разговор в ваш следующий визит.

Потом оборачивается и проходит десять из двенадцати шагов к тому месту, где ждёт медсестра, и произносит:

— Сестра Гилмэн, — говорит она, её голос звучит напором и слова врезаются друг в друга. — Вы могли бы проявить малейшее уважение к моей персоне и назвать меня доктор Маршалл, — говорит. — Особенно в присутствии посетителя, — говорит. — Особенно если вы собрались орать через весь коридор. Это минимум вежливости, сестра Гилмэн, но я считаю, что его заслуживаю, и мне кажется, что если вы сами начнёте вести себя как профессионал, то обнаружите, что и другие вокруг совершенно точно проявят куда больше желания сотрудничать...

К тому времени, как я приношу газету из зала, мама уже спит. Её жуткие жёлтые руки скрещены на груди, пластиковый больничный браслет заварен на запястье.

Глава 4

В тот миг, когда Дэнни наклоняется, с него падает парик, приземляясь в грязь и лошадиный навоз, а почти две сотни японских туристов хихикают и толпятся спереди, чтобы заснять на видеоплётку его бритую голову.

Говорю:

— Извини, — и лезу поднимать парик. Он уже не особо белый, к тому же воняет, — ведь, пожалуй, тысячи собак и цыплят отливают на этом месте каждый день.

Когда он нагнулся — галстук свесился ему на лицо, не давая смотреть.

— Братан, — просит Дэнни. — Скажи мне, что там творится?

Вот он я, трудовой народ ранней колониальной Америки.

Дурацкое дерьмо, которое мы делаем за деньги.

С краю городской площади за нами наблюдает Его Высочество Лорд Чарли, губернатор колонии, торчит со скрещенными руками и ногами, расставленными почти на десять футов друг от друга. Доярки таскают туда-сюда ведра с молоком. Башмачники стучат молотками по башмакам. Кузнец всё время колотит вдали по одной и той же железяке, прикидываясь, как и все здесь, что не смотрит на Дэнни, стоящего раком посреди городской площади, снова запираемого в колодки.

— Меня поймали, когда жевал жвачку, братан, — сообщает Дэнни моим ногам.

В согнутом положении у него текут сопли, и он начинает хлюпать.

— Сто пудов, — говорит он, шмыгая носом. — Его Высочество на этот раз наступит городскому совету.

Верхняя деревянная половина колодок поворачивается, смыкаясь вокруг его шеи, и я осторожно пристраиваю её на место, стараясь не прищемить ему кожу. Говорю:

— Извини, братан, тут будет прохладненько.

Потом цепляю висячий замок. Потом выуживаю кусок тряпья из камвольного кармана.

Прозрачная маленькая капля болтается на кончике носа Дэнни, поэтому я прикладываю к нему тряпку и команду:

— Дуй, братан.

Дэнни выдувает длинную упрямую соплю, шлепок которой я чувствую сквозь тряпье.

Тряпка немного дрянная и уже попользованная, но стоит мне

предложить ему милый чистенький носовой платок — и я буду следующим в очереди на дисциплинарные меры. Здесь бессчётное число вещей, за которые могут натянуть.

На его затылке кто-то оставил фломастером надпись «Съешь меня», ярко-красного цвета, поэтому вытряхиваю его говёный паричок и пытаюсь прикрыть им написанное, правда, парик весь напитался мерзкой коричневой воды, которая струйками сбегает по бритым бокам головы и капает с кончика его носа.

— Меня сто пудов отправят в изгнание, — говорит он, шмыгая носом.

Замерзая и начиная дрожать, Дэнни сообщает:

— Братан, там дует... Кажется, у меня сзади рубашка вылезла из бриджей.

Да, он прав, — а туристы снимают щель его задницы со всех ракурсов. Губернатор колонии таращится на это, а туристы не прекращают съёмку, пока я не хватаю обеими руками пояс Дэнни и не подтягиваю его вверх.

Дэнни рассказывает:

— Хорошая сторона того, что торчу в колодках — я здесь набрал уже три недели воздержания, — говорит. — Тут я по крайней мере не могу каждые полчаса бегать в уборную чтобы, ну, погонять.

А я советую:

— Осторожнее с этими реабилитациями, братан. Ты рискуешь взорваться.

Беру его левую руку и закрепляю её на месте, потом правую. Этим летом Дэнни столько времени проторчал в колодках, что у него на запястьях и шее остались белые кольца, на тех местах, которых никогда не достигал солнечный свет.

— В понедельник, — рассказывает Дэнни. — Я забыл снять часы.

Парик снова соскальзывает, мокро шлёпаясь в грязь. Галстук, намокший от соплей и дерьма, хлопает ему по лицу. Японцы хихикают, как будто мы здесь разыгрываем какую-то сценку.

Губернатор колонии продолжает пялиться на меня с Дэнни на предмет наших исторических несоответствий, чтобы добиться в городском совете изгнания нас в дикие пустоши: выпереть за городские ворота, чтобы дикари расстреляли стрелами и устроили резню нашим безработным жопам.

— Во вторник, — сообщает Дэнни моим башмакам. — Его Высочество заметил, что у меня на губах крем от обветривания.

С каждым разом, когда я поднимаю дебильный парик, он становится тяжелее. На этот раз вытряхиваю его об отворот башмака, прежде чем прикрыть им слова «Съешь меня».

— Сегодня утром, — рассказывает Дэнни, шмыгая носом. Сплёвывает какую-то коричневую дрянь, натёкшую ему в рот. — Перед завтраком, послушница Лэндсон засекла меня, когда курил сигарету у молитвенного дома. А потом, когда я тут торчал, какой-то мелкий засранный четвероклассник стащил мой парик и написал мне на голове вот это дерьмо.

Вытираю сопливой тряпкой большую часть грязи у его рта и глаз.

Несколько чёрно-белых цыплят, — цыплят без глаз или на одной ноге, — деформированные цыплята притащились поклевать блестящие пряжки моих башмаков. Кузнец продолжает колотить по железу: два быстрых и три медленных удара, снова и снова, — становится ясно, что это ритм-секция из старой песни группы Radiohead, которая его прёт. Понятное дело, крышу ему сорвало от экстази.

Миниатюрная доярка, которую зовут, насколько помню, Урсула, ловит мой взгляд, и я болтаю у себя перед мотнёй кулаком, подаю ей универсальный знак языка жестов, «поработать рукой». Вспыхнув под своей накрахмаленной белой шляпой, Урсула вытаскивает белую деликатесную ручку из кармана передника и показывает мне средний палец. Потом идёт весь день дровичь какой-то везучей корове. Такое, — плюс то, что мне известно: она разрешала королевскому коменданту себя полапать, потому что раз он дал мне понюхать пальцы.

Даже отсюда, даже сквозь запах лошадиного дерьма, можно учуять, как от неё дымом стелется аромат плана.

Они доят коров, сбивают масло, — сто пудов, доярки умеют великолепно работать рукой.

— Послушница Лэндсон сука, — утешаю Дэнни. — Парень-прислужник рассказывал, что подцепил от неё герпес жгучего типа.

Да-да, с девяти до пяти она янки-голубая-кровь, но каждому за глаза известно, что в Спрингбурге, где она ходила в школу, вся футбольная команда знала её под кличкой Ламприния Из Душевой.

На этот раз дрянной парик держится на месте. Губернатор колонии посылает нам сердитый взгляд и уходит в Таможенный дом. Туристы кочуют вдаль, в поисках новых кадров для съёмки. Начинается дождь.

— Всё нормально, братан, — говорит Дэнни. — Не обязательно тебе тут со мной торчать.

Это, ясное дело, просто очередной говёный денёк восемнадцатого века.

Если наденешь серёжку — отправишься в тюрьму. Если покрасишь волосы. Сделаешь пирсинг носа. Надушишься дезодорантом.

Отправляешься прямиком в тюрьму. Не играйся в го. Не коллекционируй вообще ни хрена.

Его Высочество Губернатор ставит Дэнни раком как минимум дважды в неделю: за жевательный табак, запах одеколона, за бритую голову.

«Никто в 1730-х не носил бородку эспаньолкой», — читает Его Губернаторство лекцию Дэнни.

А Дэнни огрызается ему:

— А может, как раз настоящие крутые колонисты носили.

И для Дэнни это значит — обратно в колодки.

Наш общий прикол в том, что мы с Дэнни совместно страдаем зависимостью ещё с 1734-го. Вот так далеко мы забрались. С тех пор, как встретились на собрании сексоголиков. Дэнни показал мне объявление в частной колонке, и мы оба пошли на одно и то же собеседование по работе.

Из простого любопытства я поинтересовался на собеседовании: они уже наняли деревенскую шлюху?

Городской совет молча меня разглядывает. Комитет по найму: даже там, где их никто не видит, все шесть старичков не снимают свои фуфельные колониальные парики. Пишут всё — перьями, от птичек, макая в чернила. Тот, что посередине, губернатор колонии, вздыхает. Задирает голову, чтобы посмотреть на меня сквозь пенсне.

— В Колонии Дансборо, — объявляет он. — Нет деревенской шлюхи.

Тогда я спрашиваю:

— А как насчёт деревенского дурачка?

Губернатор мотает головой — «нет».

— Вора?

«Нет».

— Палача?

«Естественно нет».

Это основная беда с музеями живой истории. Вечно они выбрасывают всё самое лучшее. Вроде тифа. И опиума. И алых меток. Позорного столба. Сожжения ведьм.

— Предупреждаем вас, — говорит губернатор. — Что любой аспект вашего поведения и внешнего вида должен соответствовать официально принятому у нас историческому периоду.

Должность моя оказалась — быть каким-то ирландским наёмным слугой. За шесть долларов в час это потрясающе реалистично.

В первую неделю моего пребывания здесь, одну девчонку повязали за то, что мычала песню группы Erasure, когда сбивала масло. Вроде как, да, группа Erasure была в истории, но недостаточно давно. Даже за такую

древность, как Beach Boys, можно нарваться на неприятности. Они вроде как даже не считают свои дебилские пудренные парики, бриджи и башмаки с пряжками стилем ретро.

Этот Его Высочество запрещает татуировки. Колечки для носа на время работы должны оставаться в личном шкафу. Нельзя жевать жвачку. Нельзя насвистывать никакие песни битлов.

— Любое нарушение персонажа, — говорит он. — И вы будете наказаны.

Наказаны?

— Вас отпустят на все четыре стороны, — говорит он. — Или же можете провести два часа в колодках.

В колодках?

— На деревенской площади.

Он имеет в виду рабские забавы. Садизм. Исполнение роли и публичное унижение. А сам губернатор заставит человека натянуть чулки со стрелкой под тугие шерстяные бриджи без нижнего белья, и назовёт это аутентичным. Это тип, который будет ставить женщин в колодки раком за какие-то там лакированные ногти. Либо так, либо будешь уволен без выходного пособия, вообще без ничего. И плохой отзыв с бывшего места работы туда же. И, ясное дело, никому не захочется иметь в резюме запись, мол, был говёным свечкарём.

В роли двадцатипятилетних парней восемнадцатого века, выбор у нас был весьма невелик. Пехотинец. Подмастерье. Могильщик. Бондарь, кто бы это ни был. Дегтярь, кто бы это ни был. Трубочист. Фермер. В тот миг, когда они сказали «зазывала», Дэнни объявляет:

— Ага. Ладно. Я могу. Нет, серьёзно, я полжизни зазывал.

Его Высочество смотрит на Дэнни и спрашивает:

— Эти очки, что на вас — вам нужны?

— Только, чтобы смотреть, — отвечает Дэнни.

На работу я согласился просто потому, что есть вещи и похуже, чем работать с лучшим другом.

С кем-то вроде лучшего друга.

Кроме того, представлялось, что тут будет прикольной: развесёлая работёнка с кучей ребят из драматических клубов и театральных кружков. А не эта свора каторжников в отключке. И пуританских лицемеров.

Если бы только Старший Городской Совет Ваш знал, что госпожа Плэйн, швея, сидит на игле. Мельник мелет порошок из мефедринчика. Трактирщик сплавляет кислоту автобусам скучающих тинэйджеров, которых притаскивают сюда на школьные экскурсии. Эти детишки сидят и

наблюдает, крепко воткнувши, как госпожа Хэллоуэй чешет шерсть и сучит из неё пряжу, читая им в это время лекцию о разведении овец и прожёвывая лепёшку гашиша. Все эти люди: гончар на метадоне, стеклодув на перкодане, и серебряных дел мастер, глотающий викодин, — здесь они нашли свою нишу. Помощник конюха, который прячет наушники под треуголкой, подключившись к Особому радио и дёргаясь под собственный персональный рейв: всё это толпа торчков-хиппарей, торгующих вразнос аграрным дерьмишжом, — хотя ладно, это моё личное мнение.

Даже у фермера Рэлдона есть персональный участок отборной травы, скрытый за кукурузой, бобами на столбах, и прочими сорняками. Только он зовёт её «шмаль».

Единственный настоящий прикол с Колонией Дансборо — она, возможно, очень даже аутентична, только в нехорошую сторону. Всё это сборище психов и неудачников, которые укрылись здесь, потому что им такого не удавалось в настоящем мире, на настоящих работах, — не из-за этого ли мы покинули в своё время Англию? Чтобы основать собственную альтернативную реальность. Разве пилигримы не были большей частью отморозками своего времени? Стопудово, вместо того, чтобы только верить во что-то кроме Господней любви, несчастные людишки, с которыми я работаю, ищут спасения в зависимостях.

Или в маленьких игрушках во власть и унижение. Гляньте на Его Высочество Лорда Чарли за кружевной занавеской — просто какой-то провалившийся театрал. Но здесь же он закон, здесь он наблюдает за каждым, кто поставлен раком, гоняя поршень рукой в белой перчатке. Ясное дело, на уроках истории такое не учат, но в колониальные времена, человек, оставленный на ночь в колодках, был не более чем законной добычей для любого, кто пожелает отодрать его. Мужчина или женщина, кто бы ни стоял раком, никак не мог видеть, кто его пялит, и это как раз была настоящая причина, по которой никому бы не захотелось в итоге оказаться здесь, если нет друга или члена семьи, который будет всё время торчать рядом с тобой. Чтобы тебя защитить. Чтобы, в буквальном смысле, прикрыть тебе задницу.

— Братан, — зовёт Дэнни. — У меня снова штаны.

Ну, и я опять их подтягиваю.

От дождя рубашка Дэнни облепляет его худую спину, так что проступают лопатки и позвонки, — они даже белее, чем неотбеленная хлопчатая ткань. Грязь скапливается у краёв его деревянных колодок и затекает внутрь. Даже при надетой шляпе, камзол у меня промокает, и от сырости моё хозяйство, запутавшееся в мотне шерстяных бриджей,

начинает чесаться. Даже хромые цыплята покудахтали вдаль в поисках сухого местечка.

— Братан, — говорит Дэнни, шмыгая носом. — На полном серьёзе, незачем тебе тут оставаться.

Насколько помню из физической диагностики, бледность Дэнни может значить опухоль печени.

См. также: Лейкемия.

См. также: Отёк лёгких.

Начинает лить сильнее, от туч так темно, что в домах люди разжигают лампы. Дым спускается на нас из печных труб. Туристы все соберутся в таверне, будут лакать австралийский эль из оловянных кружек, сделанных в Индонезии. В мастерской резьбы по дереву краснодеревщик будет нюхать клей из бумажного пакетика в компании кузнеца и повивальной девки, а она будет болтать насчёт основания группы, которую они мечтают собрать, но никогда не соберут.

Мы все в ловушке. Тут всегда 1734-й. Каждый из нас, все мы застряли в одной временной капсуле, точно как в тех телепередачах, где всё те же люди торчат в одиночку на каком-нибудь пустынном островке тридцать сезонов, и никогда не стареют и не выбираются. Просто носят больше косметики. В каком-то диковатом отношении, такие шоу даже чересчур аутентичны.

В каком-то диковатом отношении, могу себе представить, как проторчу здесь весь остаток своей жизни. Очень удобно: я и Дэнни ною про одно и то же дерьмо веками. Реабилитируемся веками. Ясное дело, я просто стою охраняю, но если уж вам нужен истинно аутентичный подход — то мне лучше видеть Дэнни в колодках, чем позволить ему уйти в изгнание и бросить меня здесь.

Я не столько хороший друг, сколько врач, которому хочется еженедельно поправлять тебе спину.

Или наркотореклер, который продаёт тебе героин.

«Паразит» — неподходящее слово, но это первое, что приходит на ум.

Парик Дэнни снова шлёпается на землю. Слова «Съешь меня» кровоточат красным под струями дождя, стекают розовым по его замёрзшим синеющим ушам, затекают розоватыми струйками в глаза и на щёки, капают розовыми каплями в грязь.

Слышен только шум дождя, вода барабанит по лужам, по соломенным крышам, по нам, — размывает всё.

Я не столько хороший друг, сколько спаситель, которому хочется, чтобы ты вечно на него молился.

Дэнни снова чихает, длинная сопля желтоватой бечёвкой вылетает из его носа и приземляется на лежащий в грязи парик, и он просит:

— Братан, не надо снова надевать мне на голову это дрянное тряпье, ладно?

И шмыгает носом. Потом кашляет, и очки падают с его лица в грязищу. Насморк означает краснуху.

См. также: Коклюш.

См. также: Воспаление лёгких.

Его очки напоминают мне о докторе Маршалл, и я рассказываю, что в моей жизни появилась новая девчонка, настоящий доктор, и, на полном серьёзе, её стоит потискать.

А Дэнни спрашивает:

— Ты что, так и застрял в процессе четвёртого шага? Помочь тебе припомнить всякое, чтобы записать в блокнот?

Полную и безжалостную историю моей сексуальной зависимости. Ах да, это самое. Каждый уродский, говёный момент.

И я отвечаю:

— Всё продвигается потихоньку, братан. Даже реабилитация.

Я не столько хороший друг, сколько родитель, которому на полном серьёзе никогда не хочется, чтобы ты вырос.

И, глядя в землю, Дэнни учит:

— Во всём полезно припомнить свой первый раз, — говорит. — Когда я в первый раз подролил, помню, решил, что изобрёл это дело. Смотрел на руку, вымазанную этой гадостью, и думал — «Это сделает меня богатым».

Первый раз во всём. Незавершённый перечень моих преступлений. Очередная незавершённость в моей жизни незавершённостей.

И, продолжая смотреть в землю, не видя ничего на свете, кроме грязи, Дэнни зовёт:

— Братан, ты ещё тут?

А я снова прикладываю к его носу тряпку и говорю:

— Дуй.

Глава 5

Какой бы там подсветкой не пользовался фотограф, она была резковата и оставляла дрянные тени на кирпичной стене позади них. На обычной крашенной стене чьего-то подвала. Обезьяна смотрелась усталой и местами облезла от чесотки. Парень был в паршивой форме, бледный, со складками жира посередине, — но, тем не менее, таким вот он стоял там: спокойный и нагнувшийся, упирающийся руками в колени, с дряблым висячим брюхом, стоял, повернув лицо в камеру, глядя через плечо и улыбаясь чему-то вдали.

«Потрясный» — неподходящее слово, но это первое, что приходит на ум.

Маленький мальчик сначала полюбил в порнографии вовсе не сексуальную часть. Не какие-нибудь там картинки с красивыми людьми, которые драли друг друга, откинув головы и скорчив свои фуфельные оргазменные гримасы. Сначала нет. Все эти картинки он понаходил в Интернете ещё тогда, когда даже понятия не имел, что такое секс. Интернет у них был в каждой библиотеке. И в каждой школе такое водилось.

Как то, что можно ездить из города в город, и везде найдёшь католическую церковь, и везде служится одна и та же месса: в какие бы приёмные края ни отправляли малыша — он мог везде разыскать Интернет. Сказать по правде, если бы Христос смеялся на кресте, или гнал на римлян; если бы он делал хоть что-то, кроме как терпел, малышу бы куда больше понравилась церковь.

Сложилось так, что его любимый веб-сайт был совсем даже не сексуальным, по крайней мере не для него. Возьмите, зайдите туда: и там найдётся около дюжины фоток того самого увальня, наряженного Тарзаном, с плюгавым орангутангом, выученным заталкивать что-то, напоминающее жареные каштаны, парню в задницу.

Набедренная повязка парня с леопардовым рисунком отброшена набок, резинка пояса тонет в пузатой талии.

Обезьяна сидит рядом, готовя очередной каштан.

В этом нет ничего сексуального. Хотя счётчик показывал, что больше полумиллиона людей заходили на это посмотреть.

«Паломничество» — неподходящее слово, но это первое, что приходит на ум.

Обезьяна с каштанами была из тех вещей, которые малышу было не понять, но он в чём-то восхищался парнем. Малыш был глуп, но он знал,

что это в каком-то смысле гораздо выше его. Честно сказать, люди в подавляющем большинстве вообще не решаются раздеться при обезьяне. Их замучают сомнения, как у них смотрится жопа, не сильно ли она красная или отвисает. У большинства людей ни за что не найдётся сил даже нагнуться перед обезьяной, — а уж тем более, перед обезьяной, лампами и фотоаппаратом, — и даже если бы пришлось, сначала они сделали бы хренову кучу приседаний, сходили бы в солярий и подстриглись. А потом часами торчали бы раком перед зеркалом в поисках лучшего ракурса.

Опять же, даже пускай это всего лишь каштаны, придётся ведь ещё держать кое-что расслабленным.

Одна только мысль о пробах обезьян наводила ужас: вероятность быть отвергнутым одной обезьяной за другой. Ясное дело, человеку-то можно заплатить достаточно денег, и он будет пихать в тебя что угодно, — или же делать снимки. Но обезьяна-то. Обезьяна же вроде как честная.

Надежда одна — приобрести того же самого орангутанга, если он, конечно, не окажется излишне переборчивым. Либо так, либо будет исключительно хорошо натаскан.

Речь о том, что быть красивым и сексуальным — казалось ничто по сравнению с этим.

Речь о том, что в мире, где все из кожи вон лезут, чтобы казаться как можно красивее, этот парень таковым не был. И обезьяна не была. И то, чем они занимались — не было.

Речь о том, что маленького мальчика в порнографии подцепила не сексуальная часть.

Это была непоколебимость. Смелость. Полное отсутствие стыда. Спокойствие и неподдельная честность. Заведомая способность взять да и стать там, и сказать целому свету: «Да-да, вот так я решил провести свободный денёк. Постоять здесь в позе с обезьяной, которая толкает каштаны мне в жопу».

И плевать мне, как я выгляжу. Или что вы подумаете.

Ну так миритесь с этим.

Он опускал весь мир, опуская себя.

И даже если парню не капли не нравилось там торчать, способность улыбаться, прикидываться таким в процессе, — это заслуживало даже большего восхищения.

Точно так же, как съёмки порнофильма требуют присутствия определённого числа людей, которые стоят здесь же за кадром, жуют бутерброды, вяжут, смотрят на часы, пока другие голыми занимаются сексом на расстоянии в каких-то несколько футов...

Для глупого маленького мальчика это стало просветлением. Быть в этом мире настолько спокойным и непоколебимым — казалось Нирваной.

«Свобода» — неподходящее слово, но это первое, что приходит на ум.

Именно такой гордостью и уверенностью в себе маленький мальчик хотел обладать. Когда-нибудь.

Если бы на картинках с обезьяной был он сам, то каждый день он мог бы смотреть на них и думать: «Если я смог сделать такое, то смогу что угодно». И неважно, с чем ещё придётся столкнуться, — если ты мог улыбаться и смеяться, пока обезьяна пялила тебя каштанами в промозгом бетонном подвале, а кто-то делал снимки, — да любая другая ситуация была бы как два пальца.

Даже ад.

Больше и больше в голове глупого малыша назревала такая мысль...

Что если на тебя посмотрит достаточно людей, то больше тебе уже не нужно будет ничьё внимание.

Что тебя достаточно когда-нибудь схватить, разоблачить и выставить напоказ, и тебе никогда уже не скрыться. Не будет разницы между твоей общественной и личной жизнью.

Что если ты достаточно приобретёшь, достаточно много добьёшься, то тебе никогда уже больше не захочется иметь или делать что-то ещё.

Что если ты будешь достаточно есть и спать, то больше тебе хотеться не будет.

Что если тебя полюбит достаточно много людей, то ты перестанешь нуждаться в любви.

Что ты способен когда-нибудь стать достаточно умным.

Что когда-нибудь у тебя может быть достаточно секса.

Всё это стало целями маленького мальчика. Иллюзиями, которые останутся с ним на всю жизнь. Все эти обещания разглядел он в улыбке толстяка.

Ну и после того, всякий раз, когда ему становилось страшно, грустно или одиноко; в каждую ночь, когда он просыпался в панике в очередном приённом доме, его сердце колотилось, а постель была сырой; в любой день, когда он отправлялся в школу в новых краях; всякий раз, когда мамуля возвращалась забрать его, в любом промозгом номере мотеля; в каждой взятой напрокат машине, — мальчик вспоминал всё ту же дюжину фоток нагнувшегося толстяка. Обезьяну с каштанами. И малолетнего говнюка такое сразу же успокаивало. Оно показывало ему, насколько храбрым, сильным и счастливым способен стать человек.

И что пытка будет пыткой, а унижение — унижением, только если ты

сам решишь страдать.

«Спаситель» — неподходящее слово, но это первое, что приходит на ум.

И вот ведь смешно: как только кто-то спасает тебя, первое, что хочется сделать — спасти других. Всех людей. Каждого.

Малыш никогда не узнал имя этого человека. Но никогда не забывал ту улыбку.

«Герой» — неподходящее слово, но это первое, что приходит на ум.

Глава 6

В следующий раз, когда прихожу навестить маму, я по-прежнему Фред Гастингс, её государственный защитник, и всю дорогу она мне поддакивает. Пока не сообщаю ей, что всё ещё не женат, а она говорит, мол, это позор. Потом включает телевизор, какую-то мыльную оперу, ну, знаете, где настоящие люди прикидываются фуфельными, с надуманными проблемами, а настоящие люди наблюдают за ними, чтобы забыть свои настоящие проблемы.

В следующий визит я по-прежнему Фред, но уже женатый и с тремя детьми. Это уже лучше, но трое детей... многовато. Людям следует ограничиваться двумя, замечает она.

В следующий визит у меня уже двое.

С каждым визитом её под одеялом остаётся всё меньше и меньше.

С другой стороны, всё меньше и меньше Виктора Манчини сидит на стуле у её кровати.

На следующий день я снова я, и проходит всего несколько минут до момента, когда мама звонит и вызывает медсестру, чтобы та провела меня обратно в холл. Мы сидим молча, потом я беру куртку, а она зовёт:

— Виктор?

Говорит:

— Должна тебе кое-что сказать.

Скатывает из пуха катышек между двух пальцев, скручивает его, делая меньше и туже, потом, наконец, поднимает на меня взгляд и спрашивает:

— Помнишь Фреда Гастингса?

Да уж помню.

У него сейчас уже жена и двое замечательных детей. Так приятно, говорит она, увидеть, как жизнь работает на хорошего человека.

— Посоветовала ему купить землю, — говорит мама. — Новой они уже нынче не делают.

Спрашиваю её, кто такие эти «они», — а она ещё раз жмёт кнопку вызова медсестры.

На выходе обнаруживаю доктора Маршалл, которая ждёт в коридоре. Она стоит тут же, прямо у двери моей мамы, пролистывая записи на планшетке, и поднимает на меня взгляд: глаза её уже спрятаны за толстыми стёклами очков. Её рука быстро выщёлкивает и отщёлкивает авторучку.

— Мистер Манчини? — спрашивает она. Складывает очки, кладёт их

в нагрудный карман халата и сообщает. — Нам обязательно нужно обсудить случай вашей матери.

Трубку для желудка.

— Вас интересовали другие варианты, — говорит.

Из двери медпункта дальше по коридору за нами наблюдают три сотрудницы, склонив головы друг к другу. Одна, по имени Дина, зовёт:

— Покатать вас двоих в колясочке?

А доктор Маршалл отзывается:

— Займитесь, пожалуйста, своим делом.

Мне она шепчет:

— На всяких мелких операциях персонал начинает вести себя так, словно они ещё в медучилище.

Дину я имел.

См. также: Клер из Ар-Эн.

См. также: Перл из Си-Эн-Эй.

Волшебство секса — обладание без обузы владения. Сколько женщин домой не води — со складским местом никогда проблем не возникает.

Доктору Маршалл, её ушам нервным рукам, сообщаю:

— Не хотелось бы, чтобы её кормили насильно.

Сёстры продолжают наблюдать за нами, доктор Маршал берёт меня под руку и уводит от них со словами:

— Я общалась с вашей матерью. Какая женщина! Эти её политические акции. Все эти её демонстрации. Вы её, наверное, очень любите.

А я отвечаю:

— Ну, не сказал бы, что прям так уж.

Мы останавливаемся, и доктор Маршалл что-то шепчет, так что мне приходится придвинуться поближе, чтобы расслышать. Слишком поближе. Медсёстры продолжают наблюдать. А она выдыхает мне в грудь:

— Что если бы нам удалось полностью вернуть разум вашей матери?

Выщёлкивая и отщёлкивая ручку, продолжает:

— Что если бы нам удалось сделать её умной, сильной, энергичной женщиной, какой она была в своё время?

Мою мать, такой, как она была в своё время?

— Это может стать возможным, — замечает доктор Маршалл.

И, даже не думая, как такое прозвучит, я говорю:

— Боже упаси.

Потом прибавляю как можно быстрее, что затея, пожалуй, не такая уж и хорошая.

А вглубь по коридору медсёстры хохочут, зажав рты руками. И даже с

такого расстояния можно разобрать слова Дины:

— Это послужит ему отличным уроком.

В мой следующий визит я по-прежнему Фред Гастингс, и мои двое детей приносят из школы сплошные пятёрки с плюсом. На этой неделе миссис Гастингс красит нашу столовую в зелёный.

— Голубой лучше, — возражает мама. — Если речь о комнате, где ты собираешься держать пищу.

После этого столовая становится голубой. Мы живём на Восточной Сосновой улице. Мы католики. Деньги храним в Городском первом федеральном. Ездим на «Крайслере».

Всё по велению моей мамы.

В следующую неделю я начинаю всё записывать, все подробности, чтобы от этой недели до следующей не позабыть, кто я да что я. «Гастингсы во все праздники ездят отдыхать на озеро Робсон», пишу. Мы ловим рыбу на блесну. Болеем за «Пэккерсов». Никогда не едим устриц. Покупаем участок. Каждую субботу я первым делом сажусь в зале и штудирую записи, пока медсестра идёт посмотреть, не спит ли мама.

Стоит мне войти в комнату и представиться Фредом Гастингсом — она тычет пультом в телевизор и выключает его.

Самшит вокруг дома ничего, учит она, но вот бирючина — лучше.

А я всё записываю.

Люди высшего сорта пьют только скотч, говорит она. Водосток свой прочищайте в октябре, а потом в ноябре повторно, говорит. Оберните воздушный фильтр в машине в туалетную бумагу, чтобы прослужил дольше. Вечнозелёные подрезайте только после первых заморозков. На растопку лучше всего идёт зола.

Записываю всё. Составляю опись того, что от неё осталось: пятна, морщины, её набухшая или пустая кожа, чешуйки и сыпь, — и пишу себе напоминания.

Ежедневно: носи крем от солнца.

Крась седину.

Не сходи с ума.

Ешь меньше жирного и сладкого.

Побольше качай пресс.

Не начинай забывать всякое-разное.

Подрезай волосы в ушах.

Принимай кальций.

Увлажняй кожу. Ежедневно.

Заморозь время на одном месте навеки.

Не старей, чёрт тебя дери.

Она спрашивает:

— Ничего не слышно от моего сына, Виктора? Помнишь его?

Прекращаю писать. У меня болит сердце, но я уже забыл, к чему бы это.

Виктор, рассказывает мама, никогда её не навещает, а если и приходит — то не слушает. Виктор вечно занят, рассеян и на всё ему плевать. Он вылетел из медицинского, и делает из своей жизни полнейший хаос.

Она подбирает пух с одеяла.

— У него какая-то там работа с минимальной зарплатой, экскурсоводом, или что-то такое, — рассказывает. Она вздыхает, и её жуткие жёлтые руки нашаривают пульт от телевизора.

Спрашиваю: разве Виктор за ней не присматривал? Разве нет у него права жить собственной жизнью? Говорю: а может быть, Виктор так занят, потому что каждый вечер он куда-то идёт и в буквальном смысле убивает себя, чтобы оплатить счета за её постоянный уход. Это минимум три штуки баксов каждый месяц, на минутку. Может, как раз поэтому Виктор бросил учёбу. Говорю — просто возьмём и предположим: может быть, Виктор, чёрт его дери, делает всё, что в его силах.

Говорю — может, Виктор делает больше, чем кому-то там кажется.

А моя мама улыбается и отвечает:

— Ах, Фред, ты всё тот же защитник безнадежно виновных.

Мама включает телевизор, и на экране прекрасная женщина в сверкающем вечернем платье бьёт другую прекрасную молодую женщину бутылкой по голове. Бутылка даже не примяла ей волосы, но женщина теряет память.

Может быть, Виктор разбирается с собственными проблемами, говорю.

Первая прекрасная женщина перепрограммирует женщину с амнезией на мнение, что та — робот-убийца, который должен выполнять распоряжения прекрасной женщины. Робот-убийца с такой охотой принимает своё новое обличье, что даже интересно становится: может, она просто разыгрывает потерю памяти, а так вообще — всегда искала удобный повод мочить людей направо-налево.

Мои разговоры с мамой, мои злость и негодование будто сливаются по стоку, пока мы сидим и наблюдаем это.

Мама в своё время подавала на стол омлеты с налипшими чёрными хлопьями покрытия со сковородки. Она готовила в алюминиевых кастрюлях, а лимонад мы пили из алюминиевых кружек, мусоля их гладкие

холодные ободки. Подмышки мы душили дезодорантом на основе солей алюминия. Сто пудов, были тысячи путей, по которым мы пришли бы к этой же точке.

В рекламном перерыве мама просит назвать ей хоть один хороший факт из личной жизни Виктора. Как он развлекается? Кем он видит себя в следующий год? В следующий месяц? В следующую неделю?

Пока что понятия не имею.

— И какого же чёрта ты хочешь сказать, — спрашивает она. — Мол, Виктор каждый вечер себя убивает?

Глава 7

Как только официант уходит, я подцепляю на вилку половину моего филейного бифштекса и целиком пихаю её себе в рот, а Дэнни просит:

— Братан, — говорит. — Не надо здесь.

Вокруг нас едят люди в броских шмотках. Со свечами и хрусталём. С полным набором вилок специального назначения. Никто ничего не подозревает.

Мои губы трещат, пытаюсь сомкнуться вокруг ломтя бифштекса, мясо солёное и сочное от жира с молотым перцем. Язык мой отдёргивается, чтобы освободить больше места, и во рот мой наполняется слюнями. Горячий сок и слюни пачкают мне подбородок.

Люди, которые заявляют, что говядина тебя убьёт, не разбираются в этом и наполовину.

Дэнни быстро осматривается и говорит, цедит сквозь зубы:

— Ты жадничаешь, друг мой, — трясёт головой и продолжает. — Братан, нельзя же обманом заставить людей, чтобы тебя любили.

Около нас сидит женатая пара с обручальными кольцами и седыми волосами, они едят не поднимая глаз, каждый опустил голову, читают программку одной и той же пьесы или концерта. Когда у женщины заканчивается вино, она тянется за бутылкой и наполняет собственный бокал. Ему не наполняет. На её муже часы с массивным золотым браслетом.

Дэнни наблюдает, как я разглядываю пожилую пару и грозитя:

— Я скажу им, клянусь.

Он высматривает официантов, которые могли бы нас узнать. Пялится на меня, выставив нижние зубы.

Кусок бифштекса так велик, что я не могу свести челюсти. У меня раздулись щёки. Мои губы туго вытягиваются, чтобы сомкнуться, и мне приходится дышать носом, пока пытаюсь жевать.

Официанты тут в чёрных пиджаках, каждый с красивым полотенцем, перекинутым через руку. Живая скрипка. Серебро и фарфор. Мы обычно не делаем такого в подобных заведениях, но список ресторанов у нас заканчивается. В городе ровно столько-то мест, где можно поесть, и не больше, — а это уж точно такой трюк, который нельзя повторить в одном заведении дважды.

Отпиваю чуток вина.

За другим соседним столиком молодая пара принимает пищу, держась за руки.

Быть может, сегодня вечером это окажутся они.

За другим столиком, глядя в пустое пространство, ест мужчина в костюме.

Быть может, сегодня вечером героем станет он.

Отпиваю ещё вина и пытаюсь проглотить, но бифштекса слишком много. Он застряёт, оперевшись мне в стенку глотки. Я перестаю дышать.

В следующий миг мои ноги так резко выпрямляются, что стул летит из-под меня вверх тормашками. Руки цепляются за глотку. Стою, таращась на разрисованный потолок, закатываю глаза. Подбородок мой выпячивается далеко вперёд.

Дэнни лезет со своей вилкой через столик, чтобы стащить у меня брокколи, и заявляет:

— Братан, ты сильно переигрываешь.

Быть может, это окажется восемнадцатилетний помощник официанта, или парень в вельветовых брюках с водолазкой, но один из этих людей будет оберегать меня всю свою жизнь как зеницу ока.

Люди уже привстали на сиденьях своих стульев.

Быть может, женщина в платье с корсажем и длинными рукавами.

Быть может, длинношейей мужчина в очках с тонкой оправой.

В этом месяце я получил три именинные открытки, а ещё ведь даже не пятнадцатое число. В прошлом месяце было четыре. В позапрошлом — шесть именинных открыток. Большую часть этих людей я не помню. Благослови их Господи, — но вот они меня не забудут никогда.

Из-за того, что не дышу, у меня на шее набухают вены. Моё лицо краснеет и наливается жаром. Пот струится по лбу. От пота мокнет рубашка на спине. Крепко обхватываю себя за глотку обеими руками, — универсальный знак языка жестов, «кто-то задыхается насмерть». Я до сих пор получаю именинные открытки от людей, которые даже не говорят по-английски.

Первые несколько секунд все обычно высматривают, кто же сделает шаг вперёд и станет героем.

Дэнни лезет, чтобы стащить вторую половину моего бифштекса.

По-прежнему крепко обхватывая руками глотку, тянусь и пинаю его в ногу.

Дёргаю руками галстук.

Рву верхнюю пуговицу воротничка.

А Дэнни отзывается:

— Эй, братан, больно же.

Помощник официанта отшатывается обратно. Ему героизма не хочется.

Скрипач и стюард ресторана идут голова к голове, несутся в мою сторону.

По другую сторону, через толпу проталкивается женщина в коротком чёрном платице. Спешит мне на помощь.

По другую сторону, мужчина сдирает с себя вечерний пиджак и кидается вперёд. Откуда-то ещё доносится крик женщины.

Такое никогда не занимает много времени. Всё приключение длится одну-две минуты, это предел. И очень хорошо, потому что именно на столько я могу задержать дыхание с набитым ртом.

Мой первый выбор был пожилой мужчина с массивными золотыми часами, как человек, который сэкономит нам день, взяв на себя счёт за наш ужин. Мой личный выбор была та в коротком чёрном платице, по той причине, что у неё красивые буфера.

Даже если приходится самим платить за наши порции: я считаю, чтобы делать деньги — нужно деньги вкладывать, так?

Сгребая ложкой жратву себе в грызло, Дэнни замечает:

— Ты всё это творишь по полной инфантильности.

Тянусь и снова его пинаю.

Я творю всё это, чтобы вернуть в жизни людей дух приключения.

Я творю всё это, чтобы создавать героев. Давать людям испытание сил. Яблоко от яблони.

Я творю всё это, чтобы делать деньги.

Кто-то спасёт тебе жизнь — и после будет любить тебя вечно. Есть такой старый китайский обычай, что если кто-то спасает тебе жизнь — то он в ответе за тебя навеки. Ты будто становишься его ребёнком. Весь остаток своей жизни эти люди будут писать мне. Каждый год слать мне юбилейные поздравления. Именинные открытки. Даже тоскливо от мысли, что у стольких людей возникает одна и та же идея. Они звонят по телефону. Узнать, всё ли у тебя в порядке. Глянуть, не нужно ли тебя подбодрить. Или подогнать деньжат.

Но я же не трачу деньги на девочек по вызову. Содержать мою маму в Центре по уходу Сент-Энтони стоит под три штуки ежемесячно. Эти добрые самаритяне помогают выжить мне. А я ей. Всё просто.

Притворяясь слабым, ты обретаешь власть. И, напротив, ты даёшь людям почувствовать себя очень сильными. Ты спасаешь людей, давая им спасти тебя.

Всё, что придётся делать — быть хилым и признательным. Так оставайся в роли опущенного.

Человеку в самом деле нужен кто-то, выше кого он может себя ощутить. Так оставайся в роли униженного.

Человеку нужен кто-то, кому можно послать чек в Рождество. Так оставайся в роли нищего.

«Милосердие» — неподходящее слово, но это первое, что приходит на ум.

Ты — свидетельство их смелости. Ты свидетельство их героического поступка. Их наглядный успех. Я творю всё это, потому что каждому хочется спасти человеческую жизнь на глазах у сотни других людей.

Острым кончиком ножа Дэнни делает на скатерти наброски: зарисовывает архитектуру помещения, карнизы и отделку, ломаные линии фронтонов над каждым проходом, — всё это, продолжая жевать. Подносит ко рту край тарелки и продолжает ложкой грести жратву вовнутрь.

Чтобы провести трахеотомию, нащупываешь впадинку немного ниже адамова яблока, но чуть выше перстневидного хряща. Делаете столовым ножом полудюймовый горизонтальный разрез, потом сжимаешь его края и вводишь внутрь палец, чтобы открыть его. Вставляешь «трахейную» трубку: лучше всего — питьевую соломинку или половинку авторучки.

Пусть мне не стать великим доктором, который спасает сотни пациентов — зато так я становлюсь великим пациентом, который создаёт сотни потенциальных докторов.

Вон, быстро приближается мужчина в смокинге, огибая подворачивающихся зевак, бежит со столовым ножом и шариковой ручкой.

Подавившись, ты становишься легендой о них самих, которую эти люди будут лелеять и пересказывать до самой смерти. Они будут считать, что дали тебе жизнь. Ты можешь оказаться единственным достойным поступком, единственным воспоминанием на смертном одре, которое оправдывает всё их существование.

Так будь активной жертвой, будь великим неудачником.

Человек готов через обруч прыгать, ему только дай почувствовать себя богом.

Это мученичество Святого Меня.

Дэнни счищает всё с моей тарелки на свою и продолжает вилкой пихать жратву себе в грызло.

Прибежал стюард ресторана. Эта в коротком чёрном платье предстала передо мной. Мужчина в массивных золотых часах.

В следующий миг чьи-то руки вынырнут сзади и замкнутся вокруг

меня. Кто-то незнакомый крепко заключит меня в объятия, замком из двух рук упёршись мне под грудную клетку, и выдохнет в моё ухо:

— Всё нормально.

Выдохнет в твоё ухо:

— С тобой всё будет хорошо.

Пара рук обхватит тебя, может, даже оторвёт от земли, и незнакомец зашепчет:

— Дыши! Дыши, чёрт возьми!

Кто-то хлопнет тебя по спине, как врач хлопает новорожденного, и ты выпустишь в воздух полный рот своего жёваного бифштекса. В следующую секунду вы оба рухнете на пол. Будешь хлюпать носом, а кто-то в это время — рассказывать тебе, что всё хорошо. Ты жив. Тебя спасли. Ты почти умер. Они прижимают твою голову к груди и укачивают тебя со словами:

— Отойдите, все. Освободите тут место. Представление кончилось.

И ты уже их ребёнок. Ты принадлежишь им.

Они прикладывают к твоим губам стакан воды и говорят:

— Успокойся уже. Тише. Всё кончено.

Тише так тише.

Пройдут годы, а этот человек будет всё звонить и писать. Ты будешь получать открытки и, возможно, чеки.

Кем бы он ни был, этот человек будет любить тебя.

Кем бы ни был человек, он будет очень гордиться. Даже если о твоих настоящих предках такого не скажешь. Этот человек будет гордиться тобой, потому что ты дал ему очень большую гордость за самого себя.

Отхлёбываешь воды и кашляешь, чтобы герой мог салфеткой вытереть тебе подбородок.

Делай что угодно, чтобы скрепить эти узы. Это усыновление. Не забудь подкинуть побольше деталей. Вымажь их шмотки соплями, чтобы они могли посмеяться и простить тебя. Хватайся и цепляйся руками. Поплачь как следует, чтобы они могли протереть тебе глаза.

Плакать нормально, пока удаётся делать это притворно.

Главное — не надо ни в чём отказывать. Всё это станет чьей-то лучшей жизненной историей.

Самое важное: если тебе не хочется заполучить мерзкий трахейный шрам — лучше начни дышать до того, как кто-то доберётся до тебя со столовым ножом, с перочинным ножиком, с разрезным для бумаги.

Ещё одна мелочь, о которой нужно помнить: когда выхаркнешь полный рот своей жёванной мрази, затычку из мертвечины и слюней, нужно

целиться прямо в Дэнни. Ему жопу прикрывают папочки-мамочки, дедушки-бабушки и тётушки-дядюшки-братишки, которые вытащат его из любого западла. Поэтому Дэнни меня никогда не понять.

Остальные люди, все остальные в ресторане, иногда толпятся вокруг и аплодируют. Люди от облегчения начинают реветь. Люди выплёскиваются из дверей кухни. Через пару минут все будут пересказывать друг другу эту историю. Все будут заказывать выпивку для героя. Глаза у каждого будут блестеть от слёз.

Все они подойдут пожать герою руку.

Они подойдут похлопать героя по спине.

Это куда в большей мере их день рождения, чем твой, но пройдут годы, а человек будет присылать тебе именинные открытки в каждое нынешнее число этого месяца. Он станет новым членом твоей собственной очень-очень большой семьи.

А Дэнни молча помотает головой и попросит меню десертов.

Вот зачем я творю всё это. Лезу во все эти неприятности. Чтобы продемонстрировать людям хоть одного незнакомца-храбреца. Чтобы спасти хоть одного человека от скуки. Это не просто ради денег. Это не просто ради обожания.

Но ни то ни другое не повредит.

Это очень легко. Это выглядит не особо красиво, — по крайней мере на поверхности, — но ты всё равно в выигрыше. Главное — позволь себе казаться сломленным и униженным. Главное — всю свою жизнь продолжай повторять людям: «Простите. Простите. Простите. Простите. Простите...»

Глава 8

Ева следует за мной по коридору с набитыми жареной индейкой карманами. Её туфли забиты жёванным бифштексом по-солсберски. Её лицо, напудренный скомканный бархатный клубок кожи, — десятки морщин, которые все сбегаят ей в рот; и она катится за мной со словами:

— Ты. Не смей от меня убежать.

Её руки сотканы из узловатых вен, ими она крутит колёса. Сгорбленная в своей коляске, беременная собственной здоровенной раздутой селезёнкой, она следует за мной со словами:

— Ты сделал мне больно.

Говорит:

— Не смей отрицать это.

Одетая в слюнявчик цвета еды, она продолжает:

— Ты сделал мне больно, и я расскажу мамочке.

Здесь, где содержат мою маму, ей приходится носить браслет. Это не браслет с украшениями, — это такая толстая пластиковая полоска, заваренная вокруг запястья, чтобы её никогда нельзя было снять. Её не разрежешь. Её не расплавишь пополам сигаретой. Люди уже перепробовали все эти способы, чтобы высвободиться.

Если на тебе браслет, то каждый раз, когда проходишь по коридору — слышишь, как защёлкиваются замки. Какая-то магнитная лента, или что-то такое, запечатанное в пластик, посылает сигнал. Останавливает двери лифта, чтобы те не открылись и не пускали тебя внутрь. Закрывает почти каждую дверь, стоит подойти к ней ближе, чем на четыре фута. Нельзя покинуть этаж, за которым ты закреплён. Нельзя выйти на улицу. Можно сходить в сад, в зал или в часовню, но больше — никуда на свете.

Если же как-то вы проскочите через двери выхода — браслет, ясное дело, включит тревогу.

Такие дела в Сент-Энтони. Тряпье, шторы, кровати, — почти всё огнеупорное. И всё грязеотталкивающее. Можно натворить что угодно где угодно, тут запросто всё уберут. Такое заведение называется центр по уходу. Не очень-то приятно рассказывать вам об этом обо всём. Портить сюрприз, я хочу сказать. Вы всё это очень даже скоро увидите сами. Если сильно заживётесь на свете.

Или возьмёте да свихнётесь вне очереди.

Моя мама, Ева, даже вы лично — в итоге каждый получает по

браслету.

Здесь вовсе не так называемый «гадюшник». При входе вас не встречает запах мочи. Не за три же штуки ежемесячно. В прошлом веке здесь был женский монастырь, и монашки насадили прекрасный сад из старых роз: прекрасный, обнесённый стенами, и полностью защищённый от побега.

Видеокамеры безопасности наблюдают за тобой с каждого ракурса.

В тот миг, когдаходишь в парадную дверь, начинается пугающая медленная миграция местных обитателей, смыкающих вокруг тебя кольцо. Каждая коляска, все люди с костылями и палочками, — только завидев посетителя, всё ползёт навстречу.

Высокая миссис Новак с пристальным взглядом — «раздевалка».

Женщина в соседней с маминной комнате — «хомячиха».

Эти самые раздевалки стаскивают с себя одежду в любой подходящий момент. Таких ребят медсёстры одевают в то, что смотрится как комбинация из штанов и рубашки, но на самом деле является комбинезоном. Рубашка вшита в пояс штанов. Пуговицы на рубашке и ширинка — фуфельные. Единственный путь наружу или внутрь — длиннющая змейка на спине. Старики здесь — с ограниченным полем движений, поэтому раздевалка, даже та, которую называют «агрессивная раздевалка», заключена трижды. В свои шмотки, в свой браслет и в свой центр по уходу.

«Хомячиха» — это та, кто жуёт еду, а потом забывает, что делать дальше. Они забывают как глотать. Вместо этого сплёвывают каждую прожёванную порцию в карман одежды. Или в сумочку. Выглядит это совсем не так мило, как звучит.

Миссис Новак — мамина соседка по комнате. А хомячиха — Ева.

В Сент-Энтони первый этаж отведён под людей, которые забывают имена, носят голыми и набивают карманы жёванной жратвой, но, с другой стороны, очень даже без серьёзных расстройств. Также здесь немного молодых с палёным наркотой и затуманенными общими травмами головы мозгом. Все они могут ходить и говорить, даже если это просто каша из слов, постоянный словесный поток, с виду без всякой закономерности.

— Фига народа дороге маленькая закатом пела верёвку пурпура вуалью нету, — вот так они говорят.

Второй этаж для лежащих пациентов. На третий этаж люди отправляются умирать.

Мама пока на первом этаже, но никто не остаётся там навечно.

Ева попала сюда так: бывает, люди приводят своих состарившихся

родителей в людное место и спокойно бросают их там без документов. Таких вот Ирм или Дороти, которые сами понятия не имеют, кто они есть. Люди считают, что муниципалитет, или правительство штата, или кто бы там ни был, их подберёт. Вроде того, как правительство убирает мусор.

Такое же происходит, когда вы оставляете свою старую машину в придорожной канаве, сняв номера и заводское клеймо, чтобы городским властям пришлось её куда-нибудь отбуксировать.

Кроме шуток, это называется «сдать бабулю на свалку», и администрации Сент-Энтони приходится держать определённое количество сданных на свалку бабуль, палёных на экстази детишек с улицы и суицидальных бомжих. Только здесь их не называют бомжихами, а уличных девочек не зовут синявками. Я так думаю — кто-то притормозил на машине, потом взял да выставил Еву за дверцу, и никогда не проронил ни слезинки. Вроде того, как люди обходятся с домашними питомцами, которых не могут содержать.

Ева всё ещё тащится за мной хвостиком; я добираюсь в комнату мамы, а её там нет. Вместо мамы в её пустой кровати большая мокрая утка в пропитанном мочой матрасе. Сейчас время душа, как мне кажется. Медсестра везёт вас по коридору в большую выложенную плиткой комнату, где вашу персону можно вымыть из шланга.

Здесь, в Сент-Энтони, каждый вечер по пятницам крутят фильм «Игра в пижамах», и каждую пятницу одни и те же пациенты приходят посмотреть его впервые в жизни.

Тут есть бинго, кружки, живой уголок.

Тут есть доктор Пэйж Маршалл. Где бы она там ни пропадала.

Тут есть огнеупорные фартуки, укрывающие от шеи до лодыжек, чтобы нельзя было поджечь себя в процессе курения. Тут есть плакаты Нормана Рокуэлла. Дважды в неделю приходит парикмахер и делает вам причёску. Это за дополнительную плату. Недержание тоже за дополнительную плату. Химчистка за дополнительную плату. Мониторинг анализов мочи за дополнительную плату. Трубки для желудка.

Тут есть ежедневные уроки по теме, как шнуровать ботинок, как застёгивать застёжку, защёлкивать защёлку. Завязывать завязку. Кто-то продемонстрирует «липучку». Кто-то научит пользоваться «молнией». Каждое утро вам сообщают, как вас зовут. Друзей, которые знают друг друга шестьдесят лет, знакомят заново. Каждое утро.

Здесь врачи, адвокаты, магнаты индустрии, которые изо дня в день уже не в состоянии справиться с «молнией». Речь не столько про обучение, сколько про технику безопасности. С тем же успехом можно пытаться

покрасить горящий дом.

Здесь, в Сент-Энтони, вторник значит бифштекс по-солсберски. Среда значит курица с грибами. Четверг — это спагетти. Пятница — печёная рыба. Суббота — мясо в кукурузной муке. Воскресенье — жареная индейка.

Тут есть головоломки-"паззлы" из тысячи кусочков, чтобы вы могли заниматься ими, пока истекает срок вашей жизни. Здесь повсюду нет ни одного матраса, на котором не успело бы умереть под дюжину людей.

Ева вкатила кресло в дверной проём маминной комнаты, и сидит там, на вид бледная и усохшая, словно мумия, которую кто-то взял да распеленал, а потом причесал ей редкие спутанные волосы. Её скомканная синеватая голова беспрерывно кружит, медленно выписывая небольшие плотные боксёрские вензеля.

— Не подходи ко мне, — произносит Ева каждый раз, стоит мне на неё глянуть. — Доктор Маршалл тебе не даст меня обижать, — говорит.

Молча сижу на краю маминной постели и жду, пока вернётся медсестра.

У моей мамы часы такого типа, где каждый час обозначается криком определённой птицы. В записи. Час дня — американский дрозд. Шесть часов — северная иволга.

Полдень — домашний зяблик.

Черноголовая синица значит восемь часов. Белорудый поползень значит одиннадцать.

Ну, вы поняли.

Беда в том, что ассоциация каждой птички со своим временем суток сбивает с толку. Начинаешь не смотреть на часы, а слушать птиц. Каждый раз, когда слышишь сладкую трель белошеего воробья, думаешь: «Уже что, десять часов?»

Ева немного вкатывается в мамину комнату.

— Ты сделал мне больно, — заявляет она мне. — А я ни разу не говорила мамочке.

Все эти старики. Все эти человеческие развалины.

Уже прошло полчаса с хохлатой синицы, а мне нужно успеть поймать автобус и быть на работе ко времени, когда пропоёт синяя сойка.

Ева считает, что я её старший братец, который пихал её когда-то, век тому назад. Соседка мамы по комнате, миссис Новак, со своими здоровенными жуткими висячими грудями и ушами, считает, что я её ублюдочный партнёр по бизнесу, который кинул её на патентованный волокноотделитель, или пишущую ручку, или что-то такое.

Здесь я для всех женщин олицетворяю всё на свете.

— Ты сделал мне больно, — повторяет Ева, подкатываясь чуть ближе. — А я не забывала об этом ни на минутку.

В каждый мой визит навстречу по коридору прётся какая-то старая кошёлка с дикими бровями, она зовёт меня Эйхманн. Другая женщина с прозрачной пластиковой трубкой ссанины, выгибающейся из-под халата, обвиняет меня в краже своей собаки и требует её назад. Каждый раз, когда я прохожу мимо ещё одной старухи, которая сидит в инвалидке, зарывшись в кучу розовых свитеров, она шипит на меня.

— Я видела тебя, — объявляет она, пялясь на меня мутным глазом. — В ночь пожара — я видела тебя с ними!

Ситуация безвыигрышная. Каждый мужчина, проходивший когда-либо через жизнь Евы, скорее всего, был в некоем воплощении её старшим братом. Известно ей это или нет, но всю свою жизнь она провела, ожидая и надеясь, что каждый мужчина станет её пихать. Seriously, даже под своей мумифицированной морщинистой кожей она остаётся восьмилетней девочкой. Застрявшей. Один в один Колония Дансборо с её погорелым цирковым персоналом, — все в Сент-Энтони так же увязли в прошлом.

Я не исключение, и не думайте, что вы сами далеко ушли.

Один в один Дэнни, застрявший в колодках: точно так же Ева задержана в своём развитии.

— Ты, — произносит Ева, тыча в меня дрожащим пальцем. — Ты поранил мою ву-ву.

Все эти встрявшие старики.

— О, ты сказал, что это просто такая игра, — рассказывает она и запрокидывает голову. Её голос затягивает песню. — Это была просто наша секретная игра, но потом ты вставил в меня свою большую мужскую штуку, — её костлявый резной пальчик тычет в воздух у моей промежности.

На полном серьёзе, уже сама мысль вызывает у моей большой мужской штуки сильное желание с криками вылететь из комнаты.

Беда в том, что повсюду в Сент-Энтони такие дела. Ещё одна древняя куча костей считает, что я занял у неё пятьсот долларов. Другая старая кошёлка зовёт меня дьяволом.

— И ты сделал мне больно, — талдычит Ева.

Очень сложно прийти сюда и не напиться вины за каждое преступление в истории человечества. Хочется орать в каждую беззубую рожу. «Да, я похитил того ребёнка Линдбергов».

Фигня с «Титаником» — это я сделал.

То дело с убийством Кеннеди, ах да, и это моя работа.

Большая задрок со Второй Мировой, хитрожопая выдумка с ядерной бомбой, так вот, знаете что? Это всё моих рук дело.

Микробик СПИДа? Прошу прощения. Снова я.

Верный способ справиться со случаем вроде Евы — перенаправить её внимание. Отвлечь её, упомянув завтрак, или погоду, или какие у неё красивые волосы. У неё запас внимания — едва на один раз часам тикнуть, можно столкнуть её на более приятную тему.

Разумно предположить, что именно так мужчины справлялись со враждебностью Евы всю её жизнь. Берёшь и отвлекаешь её. Ловишь момент. Избегаешь конфронтаций. Сматываешься.

Очень похоже на то, как мы проводим наши жизни: смотрим телевизор. Курим дрянь. Глотаем колёса. Перенаправляем собственное внимание. Дрочим. Отвергаем всё на свете.

Всё её тело склонено вперёд, прямой пальчик дрожит в воздухе, тыкая в меня.

Мать твою так.

Сейчас она очень даже подходит на роль миссис Смерть.

— Да-да, Ева, — говорю. — Я драл тебя, — а сам зеваю. — Угу. Только была возможность — сразу тыкал его в тебя и спускал заряд.

Такое называется «психодрама». Но вы можете звать это проще: новый способ сдать бабулю на свалку.

Её скрученный пальчик вянет, и она усаживается обратно, между ручек своей инвалидки.

— Так ты наконец признаёшь это, — произносит она.

— Ну да, — отвечаю. — Ты, сестрёнка, девка просто прелесть.

Её взгляд утыкается в пустое пятно на линолеумном полу, и она произносит:

— После всех этих лет — он признаёт это.

Такое называется терапия с разыгрыванием роли, хоть Ева и не в курсе, что всё не на самом деле.

Её голова по-прежнему выписывает лёгкие вензеля, но взгляд она переводит обратно на меня.

— И тебе не стыдно? — спрашивает.

Ну, думаю, раз уж Иисус мог умереть за мои грехи, то, полагаю, и я могу вобрать в себя немного за других людей. Каждому из нас выпадают шансы стать козлом отпущения. Взять на себя вину.

Мученичество Святого Меня.

Грехи каждого человека в истории камнем ложатся мне на плечи.

— Ева, — говорю. — Крошка, солнышко, сестричка моя, любовь моей жизни, ну конечно мне стыдно. Я был свиньёй, — продолжаю, глядя на часы. — Ты была такой горячей штучкой, что я слетел с тормозов.

Как будто мне охота копаться в этом говне. Ева молча пялит на меня свои гипертиреозные моргала, потом большая слеза выплёскивается из одного её глаза и прорезает пудру на сморщенной щеке.

Закатываю глаза к потолку и продолжаю:

— Ну ладно, я поранил твою ву-ву, но это было восемьдесят чёртовых лет назад, так что оставь всё позади. Двигай свою жизнь дальше.

Потом поднимаются её жуткие руки, тощие и жилистые, как корни дерева или старая морковь, и прикрывают ей лицо.

— О, Колин, — мычит она по ту сторону. — О, Колин.

Отнимает руки от лица, которое всё залито слезами.

— О, Колин, — шепчет она. — Я прощаю тебя.

И её лицо свешивается на грудь, дёргаясь от коротких вздохов и всхлипов, а жуткие руки тянут вверх край слюнявчика, чтобы протереть ей глаза.

Сидим молча. Боже, мне бы жвачку какую-нибудь. На часах у меня двенадцать двадцать пять.

Она вытирает глаза, хлюпает носом и ненадолго поднимает взгляд.

— Колин, — спрашивает. — А ты ещё любишь меня?

Все эти чёртовы старики. Господи-б...

Да, кстати, если вы не знали — я не чудовище.

Прямо как в какой-то проклятой книге, заявляю на полном серьёзе:

— Да-да, Ева, — говорю. — Да-да, сто пудов, думаю, что возможно пожалуй всё ещё тебя люблю.

Теперь Ева начинает хныкать, свесив лицо в руки, трясётся всем телом.

— Я так рада, — сообщает она, слёзы её падают прямо вниз, серая грязь с кончика носа капает точно ей в руки.

Повторяет:

— Я так рада, — и продолжает реветь, и чувствуется запах жёваного бифштекса по-солсберски, захомяченного в её туфлю, и жёванной курицы с грибами из кармана её халата. Такое — а медсестра, будь она проклята, в жизни не соблаговолит притащить мою маму с водных процедур, а мне к часу нужно вернуться на работу в восемнадцатый век.

Довольно трудно припомнить собственное прошлое, чтобы провести четвёртый шаг. Теперь оно перемешано с прошлым всех этих посторонних. Кто я на сегодня из адвокатов-поверенных — уже не помню. Разглядываю

свои ногти. Спрашиваю Еву:

— Доктор Маршалл здесь, как ты думаешь? — спрашиваю. — Не знаешь, она не замужем?

Правду обо мне: кто на самом деле я, мой отец, и всё остальное, — если мама её и знает, значит, она слишком сдурела от чувства вины, чтобы рассказать.

Спрашиваю Еву:

— Может, пойдёшь поплачешь где-нибудь в другом месте?

А потом уже поздно. Поёт синяя сойка.

А Ева эта до сих пор не заткнулась, ревет и трясётся, прикрыв слюнявчиком рожу; пластиковый браслет дрожит на её запястье, она талдычит

— Я прощаю тебя, Колин. Я прощаю тебя. Я прощаю тебя. О, Колин, я прощаю...

Глава 9

Однажды днём, когда глупый маленький мальчик и его приёмная мать были в магазине, они услышали объявление. На дворе стояло лето, и они купались перед школой: в том году он шёл в пятый класс. В том году нужно было носить полосатые рубашки, чтобы быть одетым по форме. Это было многие годы назад. То была только его первая приёмная мать.

Полоски сверху вниз, объяснял он ей, когда они услышали это.

Это объявление.

— Внимание, доктор Поль Уэрд, — сказал всем голос. — Пожалуйста, подойдите к своей жене в отдел косметики магазина «Вулворт».

То был первый раз, когда мамуля вернулась забрать его.

— Доктор Уэрд, пожалуйста, подойдите к своей жене в отдел косметики магазина «Вулворт».

Это был тайный сигнал.

Поэтому малыш соврал и заявил, что ему нужно сходить поискать туалет, а вместо этого пошёл в магазин «Вулворт», и там, за открыванием коробок с краской для волос, застал мамулю. На ней был большой жёлтый парик, который делал её лицо на вид слишком маленьким и вонял сигаретами. Она открывала ногтями каждый коробок и вынимала оттуда тёмно-коричневый пузырёк краски. Потом открывала другой коробок и вынимала ещё один пузырёк. Клала первый пузырёк во вторую коробку и ставила её на полку обратно. Открывала новый коробок.

— Хорошенькая, — заметила мамуля, глядя на картинку женщины, улыбающуюся с коробки. Заменяла пузырёк внутри на другой. Все пузырьки — из одинакового тёмно-коричневого стекла.

Открывая следующую коробку, спросила:

— Как ты считаешь, она хорошенькая?

А малыш был таким глупым, что переспросил:

— Кто?

— Сам знаешь, кто, — ответила мамуля. — Она ещё и молоденькая. Только что видела, как вы двое смотрели шмотки. Ты держал её за руку, так что не ври.

А малыш был таким глупым, что даже не знал, что можно взять и убежать. Он даже не пытался поразмыслить о вполне конкретных пунктах её условного заключения, или об ордере на арест, или за что последние три месяца она провела за решёткой.

И, подсовывая пузырьки для блондинок в коробки для рыжих, а пузырьки для брюнеток в коробки для блондинок, мамуля спросила:

— Так она тебе нравится?

— Ты про миссис Дженкинс? — переспросил наш мальчик.

Даже не стараясь хорошо позакрывать коробки, мамуля ставила их обратно на полку немного неаккуратно, чуть торопливо, и повторила:

— Она тебе нравится?

И, как будто оно было к месту, наш малолетний слизняк ответил:

— Она же просто приёмная мама.

И, не глядя на малыша, продолжая разглядывать улыбающуюся женщину на коробке в своих руках, мамуля сказала:

— Я спросила — нравится ли она тебе.

Мимо них по проходу протарахтела магазинная тележка, и белокурая леди потянулась, взяв с полки коробок с изображением блондинки, но с пузырьком какой-то другой краски внутри. Эта леди положила коробку в тележку и удалилась.

— Она считает себя блондинкой, — заметила мамуля. — Нам нужно всего лишь чуток перепутать людям их шаблонные представления о собственной личности.

Мамуля называла такое — «Терроризм сферы красоты».

Маленький мальчик смотрел леди вслед, пока она не удалилась слишком далеко, и помочь уже было нельзя.

— У тебя уже есть я, — сказала мамуля. — Так как ты там называешь эту приёмную?

«Миссис Дженкинс».

— И нравится она тебе?

А маленький мальчик прикинулся что раздумывает, и сказал:

— Нет?

— Ты её любишь?

— Нет.

— Ты её ненавидишь?

И этот бесхребетный малолетний червяк сказал:

— Да?

А мамуля ответила:

— Ты всё уяснил правильно, — она наклонилась, чтобы заглянуть ему в глаза, и спросила:

— И как же ты ненавидишь миссис Дженкинс?

И малолетняя соска сказал:

— Очень и очень?

— И очень и очень и очень, — ответила мамуля. Протянула ему руку и сказала:

— Нам надо поторопиться. Нужно ещё поймать поезд.

А потом, проводя его через проходы, буксируя его за безвольную ручонку навстречу дневному свету за стеклянными дверьми, мамуля говорила:

— Ты мой. Мой. Отныне и навсегда, и не смей забывать об этом.

И, протаскивая его сквозь двери, она сказала:

— Да, просто на тот случай, если полиция или кто-то ещё потом начнёт тебя расспрашивать, я расскажу тебе про все мерзкие, грязные вещи, которые эта так называемая приёмная мать делала с тобой всякий раз, когда заполучала тебя наедине.

Глава 10

Там, где сейчас живу, в мамином старом доме, я сортирую мамины бумаги: табеля из колледжа, её дела, заявления, объяснительные. Судебные протоколы. Её дневник, всё ещё под замком. Всю её жизнь.

В следующую неделю я мистер Беннинг, который защищал её по скромному обвинению в похищении ребёнка после инцидента со школьным автобусом. Спустя ещё неделю, я государственный защитник Томас Уэлтон, который провёл ей сделку по признанию вины и скинул срок до шести месяцев после того, как её обвинили в издевательствах над животными зоопарка. Следом за ним, я поверенный «Американских гражданских свобод», который ходил с ней на разборки по поводу обвинения в злоумышленном нанесении ущерба, корнями уходящее в возмутительное поведение на балете.

Это противоположно понятию «дежа вю». Такое называется «жемэ вю». Когда раз за разом встречаешь всё тех же людей или посещаешь всё те же места, но каждый раз всегда первый. Каждый встречный всегда чужой. Ничего знакомого вокруг.

— Как поживает Виктор? — спрашивает меня мама в следующий визит.

Кто бы я там ни был. Каким бы государственным защитником не оказался ныне.

«Какой ещё Виктор?», — хочется спросить.

— Вам неохота будет слушать, — говорю. Это разобьёт вам сердце. Спрашиваю. — Каким был Виктор, когда был маленьким? Чего он хотел от мира? Была ли какая-то крупная цель, о которой он мечтал?

На данный момент моя жизнь представляется мне так, словно я играю в мыльной опере, которую смотрят герои мыльной оперы, которую тоже смотрят герои мыльной оперы, которую где-то вдалеке смотрят настоящие люди. Каждый раз, когда прихожу в гости, осматриваю коридоры на предмет нового случая переговорить с нашей доктором, с её маленьким чёрным мозгом, скрученным из волос, её ушами и очками.

С доктором Пэйж Маршалл, с её планшеткой и личными мнениями. С её пугающими мечтами помочь моей мамочке прожить ещё десять или двадцать лет.

С доктором Пэйж Маршалл, с новой потенциальной дозой сексуального анестетика.

См. также: Нико.

См. также: Таня.

См. также: Лиза.

Всё больше и больше кажется, будто я плоховато изображаю сам себя.

В моей жизни не больше смысла, чем в дзенской коане.

Поёт домашний крапивник, но настоящая ли это птица, или сейчас четыре часа — уже не уверен.

— У меня нынче совсем склероз, — жалуется мама. Трёт себе виски большим и указательным пальцем и продолжает. — Боюсь, придётся рассказать Виктору правду о нём.

Взгрозившись на кучу подушек, говорит:

— Пока ещё не поздно — думаю, у Виктора есть право узнать, кто он на самом деле.

— Так возьмите расскажите ему, — советую. Я принёс поесть, миску шоколадного пудинга, и пытаюсь протолкнуть хоть ложку ей в рот.

— Могу сходить позвонить, — говорю. — И Виктор через пару минут будет здесь.

Пудинг светлее оттенком, чем холодная тёмно-коричневая морщинистая кожа, и резко пахнет.

— Ой, да не могу я, — отзывается она. — Это такая серьёзная вина, что я в глаза ему посмотреть не могу. Даже не знаю, как он отреагирует.

Говорит:

— Может, лучше даже если Виктор никогда этого не выяснит.

— Так расскажите мне, — советую. — Скиньте всё с плеч, — обещаю не пересказывать это Виктору, только с её разрешения.

Она прищуривается в мою сторону, вся старая кожа туго собирается у её глаз. Морщины у её рта вымазаны шоколадным пудингом, и она спрашивает:

— Но откуда я знаю, что тебе можно доверять? Я даже не уверена, кто ты такой.

Отвечаю с улыбкой:

— Конечно мне можно доверять.

И втыкаю ложку ей в рот. Чёрный пудинг лишь остаётся на её языке. Такое лучше, чем трубка для желудка. Ладно, допустим — дешевле.

Выношу пульт от телевизора за пределы её досягаемости и говорю ей:

— Глотай.

Говорю ей:

— Ты должна меня слушать. Ты должна мне верить

Говорю:

— Я он. Я отец Виктора.

И её белёсые глаза выпучиваются на меня, а всё остальное лицо, морщины и кожа, словно пытается соскользнуть в воротник её пижамы. Жуткой жёлтой рукой она творит крестное знамение, и челюсть отвисает ей на грудь.

— О, ты он, и ты вернулся, — бормочет она. — О, отец благословенный. Отче наш, — говорит. — О, прошу, прости меня.

Глава 11

Вот он я, обращаюсь к Дэнни, снова запирая его в колодки, на этот раз за штамп, оставшийся на его руке после какого-то ночного клуба, — я говорю ему:

— Братан.

Говорю:

— Как это странно.

Дэнни держит обе руки по местам и ждёт, пока закрою их. Он туго заправил рубашку. Помнит, что нужно немного согнуть колени, чтобы снять со спины нагрузку. Не забывает сбегать в уборную перед тем, как его запрут. Наш Дэнни становится профессиональным экспертом по несению наказаний. В старой доброй Колонии Дансборо, мазохизм — ценный производственный навык.

Да и почти на любой работе.

Вчера в Сент-Энтони, рассказываю ему, всё шло как в том старом фильме, где парень и картина: парень там тусуется по вечеринкам и живёт под сотню лет, но никогда не меняется. А портрет его становится уродливей, загаживается всякой фигнёй, которая бывает от алкоголя, и нос на нём вваливается от вторичного сифилиса и трипака.

Все эти обитатели Сент-Энтони теперь лезут с закрытыми глазами и довольно мычат. Все скалятся и благочествуют.

Кроме меня. Я их дебильный портрет.

— Поздравь меня, братан, — отзывается Дэнни. — Пока я столько торчу в колодках, уже набрал четыре недели воздержания. Это сто пудов на четыре недели больше, чем мне удавалось набрать с тринадцати лет.

Мамина соседка по комнате, рассказываю ему, наша миссис Новак — теперь всё кивает и ходит вся довольная, мол, я в итоге покаялся, что украл у неё изобретение зубной пасты.

Ещё одна старушка радостно тарахтит и кайфует как попугай с тех пор, как я сознался, что каждую ночь ссу ей в постель.

Да-да, заявляю им всем, это был я. Я сжёг ваш дом. Я бомбил ваш посёлок. Я сослал вашу сестру. Я задвинул вам говёный синенький драндулет «Нэш Рэмблер» в 1968-м. А потом, ах да, убил вашу собаку.

Так оставьте всё позади!

Говорю им: валите всё на меня. Пускай я буду изображать большую пассивную жопу в вашей групповухе для снятия вины. Приму заряд у всех.

И теперь, когда каждый спустил свой заряд мне на лицо, все они улыбаются и мычат. Все ржут в потолок, продолжая толпиться вокруг меня, гладят по руке и говорят, мол, всё нормально, мол, они меня прощают. Все, бля, набирают вес. Весь курятник тарахтит обо мне, и эта стройненькая медсестра, когда проходит мимо, произносит:

— Ну, смотрите, какой вы Мистер Популярность.

Дэнни шмыгает носом.

— Нужна тряпка для соплей, братан? — спрашиваю.

А странно то, что моей маме лучше не становится. Неважно, сколько я изображаю Крысолова-дудочника и увожу прочь упрёки этих людей. Неважно, сколько впитываю в себя вины, — мама уже не верит, что я это я, что я Виктор Манчини. Так что она не выпустит собственный большой секрет. Так что ей потребуется какая-нибудь там трубка для желудка.

— Воздержание — это, конечно, нормально, — продолжает Дэнни. — Но я мечтаю когда-нибудь жить жизнью, построенной на том, чтобы делать что-то хорошее, вместо того, чтобы просто не делать плохого. Врубаешься?

А ещё более странно то, рассказываю ему, что мне кажется, мою новую популярность можно превратить в лёгкий трах в чулане с той стройной сестричкой, — может, дать ей поршень по щековине. Стоит медсестре вообразить, что ты чуткий заботливый парень, который проявляет терпимость к старым безнадёжным людям, — и ты уже на полпути к тому, чтобы её отодрать.

См. также: Кэрен из Ар-Эн.

См. также: Нанэтт из Эл-Пи-Эн.

См. также: Джолин из Эл-Пи-Эн.

Но, с кем бы я ни был, башка моя полностью забита той, другой девчонкой. Той доктором Пэйж Как-её-там. Маршалл.

Так что, кого бы я ни драл, мне приходится представлять себе больших гниющих животных: сбитых на шоссе раздутых от газа енотов, которых таранят на большой скорости грузовики на раскалённом от палящего дневного солнца асфальте. Либо такое, либо я тут же кончу, так возбуждает меня засевшая в голове доктор Пэйж Маршалл.

Забавно, что никогда не думаешь о женщинах, которых отымел. И никогда не удаётся забыть как раз тех, которые своей участи избежали.

— Это как же во мне силён внутренний наркоман, — говорит Дэнни. — Если я боюсь оставаться не взаперти. Моя жизнь должна заключаться в чём-то гораздо большем, чем просто не драть.

Другую женщину, говорю я, не важно какую, можно представить, как дрючишь. Ну, там: она с раздвинутыми ногами на водительском сиденье в

какой-то машине, и в её точку Джи, в край её уретрального нароста, врезается твой толстенный здоровый поршняра. Или можно вообразить, как её порют, стоящую раком в горячей ванне. Ну, то есть, в её личной жизни.

Но эта самая доктор Пэйж Маршалл кажется словно превыше того, чтобы её драли.

Над головой кружат какие-то хищные птички. По птичьему времени такое должно значить около двух часов дня. Порыв ветра отбрасывает фалды камзола Дэнни на плечи, и я стаскиваю их обратно.

— Иногда, — говорит Дэнни, шмыгая носом. — Как-то даже охота, чтобы меня били и наказывали. Ладно что Бога больше нет, всё равно хочется что-то уважать. Я не хочу быть центром собственной вселенной.

Раз уж Дэнни весь день собрался торчать в колодках, мне придётся переколоть все дрова. Самостоятельно перемолоть кукурузу. Засолить свинину. Просвечивать яйца. Нужно забодяжить пойло. Накормить свиней от пуза. Восемнадцатый век никому малиной не покажется. Раз уж мне придётся добирать за ним все недостатки, сообщаю сгорбленной спине Дэнни, за это он мог бы как минимум сходить навестить мою маму и прикинуться мной. Чтобы услышать её исповедь.

Дэнни вздыхает, глядя в землю. С высоты в двести футов один из стервятников роняет ему на спину мерзкий белый потёк.

Дэнни сообщает:

— Братан, мне нужна какая-то миссия.

Говорю:

— Вот и сделай одно доброе дело. Помоги старой леди.

А Дэнни спрашивает:

— Как там продвигается твой шаг номер четвёртый? — говорит. — Братан, у меня тут бок чешется, не поможешь?

И я осторожно, чтобы не влезть в птичье дерьмо, начинаю скрести ему бок.

Глава 12

В телефонном справочнике всё больше и больше красных чернил. Больше и больше ресторанов вычеркнуто красным фломастером. Всё это заведения, где я почти умер. Итальянские. Мексиканские. Китайские заведения. На полном серьёзе, с каждым вечером у меня остаётся всё меньше выбора, куда можно сходить поесть, раз уж я решил делать деньги. Раз уж я решил дурить кого-то, заставив полюбить меня.

Вопрос всегда звучит так: «И чем же вам будет угодно подавиться сегодня вечером?»

Осталась французская кухня. Кухня индейцев майя. Восточно-индийская.

Чтобы представить себе место, где я сейчас живу, старый мамин дом, вообразите реально грязную лавку антикварной мебели. Таковую, по которой приходится ходить боком, как люди ходят на картинках в египетских иероглифах, — вот такой здесь завал.

Вся мебель — резного дерева: длинный обеденный стол, стулья, шкафы и сундуки, — всё с резными гранями, мебель заляпана по всей поверхности каким-то лаком, напоминающим густой сироп, который почернел и растрескался ещё, пожалуй, за миллион лет до рождества Христова. Выпуклые диваны покрыты холстом той самой пуленепробиваемой марки, на который в жизни не захочется садиться голым.

Каждым вечером после работы нужно первым делом просмотреть именные открытки. Подбить итог по чекам. Всё у меня разложено по акру чёрной площади обеденного стола: платформа для моей деятельности. Здесь нынешняя квитанция, которую нужно заполнить. Сегодня тут одна вшивая открытка. Одна поганая открытка пришла по почте, с чеком на пятьдесят баксов. И всё равно придётся писать благодарственное письмо. И всё равно здесь ещё целое позорное поколение опущенных писем, которые надо разослать.

Речь не о том, что я неблагодарный, но если всё, что вы можете мне урезать — это пятьдесят баксов, то в следующий раз лучше дайте мне сдохнуть. Ладно? Или, ещё лучше, постоит в сторонке, а героем пускай становится кто-то с деньгами.

Ясное дело, в благодарственной записке я такого написать не могу, но всё же.

Чтобы представить себе старый мамин дом, вообразите, что всю эту дворцовую мебель запихнули в двухспальный коттедж для молодожёнов. Эти диваны и картины должны были по идее стать её приданым из Старого света. Из Италии. Моя мама приехала сюда учиться, и не вернулась, после того, как у неё появился я.

Вы бы не сказали по ней, что она итальянка. Никакого запаха чеснока или волосни в подмышках. Она приехала сюда, чтобы поступить на медицинский факультет. На чёртов медицинский факультет. В Айове. Честно говоря, иммигрантам приходится куда больше походить на американцев, чем тем, кто здесь родился.

Честно говоря, я более-менее её грин-карта.

Просматривая телефонный справочник, моя задача подобрать для мероприятия публику классом повыше. Нужно идти туда, где лежат реальные деньги, и тащить их домой. Не стоит давиться насмерть кусками курятины в каком-нибудь занюханном заведении.

Богачи, которые жрут блюда французской кухни, так же мечтают стать героями, как и все остальные.

Я хочу сказать, нужна дискриминация.

Мой вам совет: нужно точно определяться с целевыми рынками.

В телефонном справочнике на пробу остались ещё рыбные ресторанчики. Монгольские гриль-бары.

Имя на сегодняшнем чеке принадлежит какой-то женщине, которая спасла мне жизнь на «шведском столе» в прошлом апреле. В буфете из разряда «берите-что-хотите». О чём я думал? Давиться в дешёвых ресторанах — это сто пудов ложная экономия. Всё проработано, все моменты записаны в толстом журнале, который я веду. Всё здесь, начиная от того, кто спас меня, где и когда, заканчивая тем, сколько они потратили на данный момент. Сегодняшнюю вкладчицу зовут Бренда Манро, как гласит подпись внизу именной открытки, «с любовью».

«Надеюсь, это немножко поможет», — написала она поперёк внизу чека.

Бренда Манро, Бренда Манро... Пытаюсь припомнить лицо, да не выходит. Ничего не помню. Ну, а кто может требовать, чтобы ты помнил каждый свой предсмертный опыт. Ясное дело, я мог бы вести записи подробнее, хотя бы вносить цвет глаз и волос, но, на минутку: вон, гляньте на меня. Я и так уже погряз в бумагах.

Благодарственное письмо за прошлый месяц было полностью посвящено моим мучениям, чтобы оплатить что-то, уже забыл что.

За квартиру нужно заплатить, говорил я людям, или стоматологу за

пломбы. Там была плата за молоко, или за юридическую консультацию. Как разошлю пару сотен копий одного и того же письма — потом уже никогда в жизни видеть его не хочется.

Это доморощенный вариант фондов помощи заморским детям. Тех фондов, где, мол, «за цену чашки кофе вы можете спасти ребёнку жизнь. Станьте спонсором». Зацепка в том, что только один раз спасти чью-то жизнь просто невозможно. Людям приходится спасать меня снова и снова. Как и на самом деле, после каждого очередного раза лучше им уже не становится.

Как учат на медицинском факультете, каждого можно спасти только определённое количество раз, после чего уже нельзя. Это Питеров принцип медицины.

Те люди, которые присылают деньги, оплачивают свой героизм в рассрочку.

Ещё можно давиться марокканской кухней. Можно сицилийской. В любой вечер.

Когда родился я, маму оставили жить в Штатах. Не в этом доме. Она не жила здесь до своего последнего выхода из тюрьмы, после срока за угон школьного автобуса. За угон транспортного средства плюс похищение ребёнка. Я не помню этот дом в своём детстве, как и эту мебель. Всё это прислали из Италии её родители. Мне так кажется. Опять же: с тем же успехом она могла, к примеру, выиграть это всё на телешоу, — не могу сказать.

Только один раз я задал вопрос про её семью, про дедушку с бабушкой, которые остались в Италии.

А она в ответ, точно помню, сказала:

— Они про тебя не знают, поэтому не создавай проблем.

А если они не знают про её ублюдочного ребёнка, то им гарантированно неизвестно и про её непристойное поведение, и про покушение на убийство, и про создание угрозы по небрежности, и про издевательство над животными. Они гарантированно тоже ненормальные. Вон, гляньте только на их мебель. Они точно ненормальные, и вообще уже умерли.

Листаю телефонный справочник туда-обратно.

Правда заключается в том, что держать мою маму в Сент-Энтони стоит три штуки баксов. В Сент-Энтони дерут под пятьдесят баксов только за смену подгузника.

Одному Богу известно, сколькими смертями мне придётся почти умереть, чтобы оплатить трубку для желудка.

Правда заключается в том, что хоть толстый журнал насчитывает уже больше трёх сотен вписанных имён, я всё равно не дотягиваю до трёх штук ежемесячно. Плюс каждый вечер официант приносит счёт. Плюс там чаевые. Эта чёртова надбавка меня убивает.

Как и в любой хорошей финансовой пирамиде, в основание постоянно нужно набирать народ. Как и в схеме Социального страхования, существует большое количество людей, которые коллективно платят за кого-то другого. Доить этих добрых самаритян — всего лишь назначение моей личной сети социальной безопасности.

«Схема Понзи» — неподходящий термин, но это первое, что приходит на ум.

Горькая правда заключается в том, что снова и снова, каждый вечер мне приходится пробежать телефонный справочник и найти хорошее заведение, куда можно пойти и почти умереть.

Я провожу здесь Телемарафон Виктора Манчини.

Такое не хуже, чем правительство. Только люди, которые подписывают счета в системе пособий Виктора Манчини, не жалуются. Они гордятся. Они на полном серьёзе хвалятся об этом перед своими друзьями.

Такой обман не оставляет никого обделённым: тут лишь я во главе и люди, которые выстраиваются в очередь, чтобы купиться на него, обхватив меня сзади руками. Добрые щедрые люди, полные жалости и сострадания.

Опять же, я ведь не трачу деньги на азартные игры или наркоту. Да я даже порцию-то никогда не могу доест. На полпути каждого дежурного блюда мне приходится браться за дело. За своё бульканье и дёрганье. И даже после такого — некоторые люди никогда не объявляются с деньгами. Некоторые на второй раз уже не утруждаются вспомнить. А через какой-то срок — даже самые щедрые люди перестанут присылать чек.

Часть когда рыдаю, когда меня обнимают чьи-то руки, а я плачу и ловлю ртом воздух, — эта часть с каждым разом даётся всё легче. Труднее и труднее в рыданиях становится тот момент, когда нужно остановиться, а я не могу.

В телефонном справочнике ещё не перечёркнутой осталась кухня фондю. Есть ещё тайская. Греческая. Эфиопская. Кубинская. Есть ещё сотни заведений, куда я не ходил умирать.

Чтобы увеличить приток денег, приходится каждый вечер создавать сразу двух-трёх героев. Иногда вечером приходится отправиться в три или четыре заведения, пока наешься полностью.

Я артист большой сцены, который даёт по три концерта за вечер. «Дамы и господа, мне нужен доброволец из публики».

— Спасибо, да хрен вам «спасибо», — хочется сказать своим умершим родственникам. — Лучше уж я сам сделаю себе семью.

Рыба. Мясо. Овощи. Сегодня, как и в любой другой вечер, самое простое — взять и закрыть глаза.

Поднимаешь палец над раскрытым телефонным справочником.

«Поднимитесь сюда и станьте героем, дамы и господа. Поднимитесь сюда и спасите жизнь».

Роняешь руку — и пусть за тебя решает судьба.

Глава 13

Спасаясь от жары, Дэнни стаскивает свою куртку, потом свитер. Не расстёгивая пуговиц, даже на вороте и рукавах, стягивает рубашку через голову, выворачивая её наизнанку, и теперь его руки запутаны в красную клетчатую фланель. Одета под низ футболка собирается в подмышках, пока он борется с рубашкой, пытаясь стащить ту с головы, — а голый живот у него на вид впалый и прыщавый. Несколько длинных вьющихся волос произрастает между крошечных точек его сосков. Соски выглядят растрескавшимися и воспалёнными.

— Братан, — зовёт Дэнни, продолжая сражение под рубашкой. — Слишком много слоёв. Чего это здесь такая жарница?

Потому что здесь вроде как больница. Здесь центр по уходу.

Над его джинсами и ремнём виднеется сдохшая резинка поганных трусов. Ржавчина коричневыми пятнами покрывает растянутую резинку. Спереди выбилась пара скрученных волосин. Желтоватые пятна от пота у него, — в самом деле, — на коже подмышек.

Тут же, рядом, за конторкой сидит девушка, туго собрав всё лицо в складки вокруг носа.

Пытаюсь заправить его футболку обратно, — а пупок у него набит пухом самых разных оттенков. На работе, в раздевалке, мне доводилось наблюдать, как Дэнни стягивает с себя штаны вместе с надетыми на них трусами, так же как делал я сам, когда был маленьким.

И, по-прежнему запутавшись в рубашке головой, Дэнни продолжает:

— Братан, не поможешь? Тут где-то пуговица, не пойму где.

Девушка за конторкой переводит взгляд на меня. На полпути к уху она держит трубку телефона.

Сбрасывая почти все шмотки перед собой на пол, Дэнни всё худеет, пока не остаётся в одной своей пропотелой футболке и джинсах с запачканными коленями. Шнурки его теннисных туфель завязаны двойным узлом, а дырочки навеки залеплены грязью.

Здесь под тридцать пять градусов, потому что у большинства этих людей считай нету кровообращения, объясняю ему. Здесь много стариков.

Здесь чисто пахнет, то есть унюхать можно только химикалии: моющие средства и освежители воздуха. Знайте, что хвойный запах прикрывает где-то кучу дерьма. Лимонный означает, что кто-то наблевал. Розы — это моча. Как проведёшь денёк в Сент-Энтони — потом на всю

жизнь расхочется нюхать любую розу.

В холле мебель с обивкой, искусственные пальмы и цветочки.

Такие предметы декоративного назначения иссякнут, когда пройдёшь сквозь бронированную дверь.

Девушку за конторкой Дэнни спрашивает:

— Никто не будет лапать мою кучу, если я возьму её здесь положу? — это он имеет в виду связку своих старых тряпок. Представляется. — Я Виктор Манчини, — оглядывается на меня. — И я пришёл повидать свою маму?

Говорю Дэнни:

— Братан, господи-боже, у неё-то нет повреждения мозга.

Девушке за конторкой сообщаю:

— Я Виктор Манчини. Я всё время хожу сюда навещать маму, Иду Манчини. Она в комнате 158.

Девушка жмёт кнопку телефона и говорит:

— Вызов для сестры Ремингтон. Сестра Ремингтон, подойдите, пожалуйста, к приёмному столу, — её голос громким эхом отдаётся у потолка.

Интересно, настоящий ли человек эта сестра Ремингтон.

Интересно, не считает ли наша девчонка, что Дэнни — очередной агрессивный хронический раздевала.

Дэнни заталкивает шмотьё под стул с обивкой.

По коридору трусцой приближается толстяк, приложив одну руку к скачущему нагрудному карману, полному авторучек, а другую положив на баллончик со слезоточивым газом на поясе. На другом бедре у него звенит связка ключей. Спрашивает девушку за конторкой:

— И что здесь за ситуация?

А Дэнни интересуется:

— Тут есть сортир, куда можно сходить? В смысле, для гражданских.

Беда здесь в Дэнни.

Чтобы услышать её исповедь, ему придётся встретиться с тем, что осталось от моей мамы. Планирую представить его, как Виктора Манчини.

Таким образом Дэнни сможет выяснить, кто я на самом деле есть. Таким образом моя мама сможет немного успокоиться. Немного набрать вес. Сбереечь мне деньги на трубку. Не умереть.

Когда Дэнни возвращается из туалета, охранник проводит нас в жилую часть Сент-Энтони, а Дэнни рассказывает:

— Там в сортире на двери нет замка. Сидел на толчке, а ко мне ввалилась какая-то старушка.

Спрашиваю — хотела секса?

А Дэнни отзывается:

— С какой стати?

Мы проходим двойную дверь, которую охраннику нужно открывать, потом ещё одну. Пока идём, у него на бедре звенит связка ключей. Даже на его шее сзади большие складки жира.

— Твоя мама, значит? — произносит Дэнни. — Так она похожа на тебя?

— Может, — говорю. — Только, ну, понял...

И Дэнни спрашивает:

— Только исхудавшая и почти без мозгов, так?

А я отвечаю:

— Слушай, хватит, — говорю. — Ладно, пускай она была говёной матерью, но это единственная мама, которая у меня есть.

— Прости, братан, — извиняется Дэнни и продолжает. — Но разве она не заметит, что я не ты?

Здесь, в Сент-Энтони, приходится опускать шторы ещё дотемна, потому что если кто-нибудь из местных обитателей увидит себя, отражённого в окне, он решит, что там за ним кто-то подсматривает. Называется «затемнение». Когда все старики с закатом сходят с ума.

Этих ребят большей частью можно поставить перед зеркалом и сказать им, что это такой специальный телеканал про старых несчастных умирающих людей, и они будут смотреть его часами.

Беда в том, что мама не станет со мной говорить, когда я Виктор, и не станет со мной говорить, когда я её поверенный. Моя единственная надежда — побыть её государственным защитником, пока Дэнни будет мной. Я могу направлять разговор. Он может слушать. Может так она заговорит.

Представьте, что это вроде гештальт-засады.

По дороге охранник интересуется: не я ли тот парень, что изнасиловал собаку миссис Филдз?

Нет, говорю ему. Эта старая история. Лет восемьдесят ей.

Мамулю мы обнаруживаем в зале, где она сидит перед рассыпанным на столе «пазлом». Тут, пожалуй, вся тысяча кусочков, но нигде нет коробки с рисунком, как оно всё должно смотреться собранным. Оно может стать чем угодно.

Дэнни спрашивает:

— Так это она? — говорит. — Братан, она совсем на тебя не похожа.

Моя мама пихает туда-сюда кусочки головоломки, — некоторые из них

перевернуты и лежат серой картонной стороной вверх, — и пытается подогнать их в одно.

— Братан, — произносит Дэнни. Разворачивает стул задом наперёд и присаживается на него к столу, склонившись вперёд на спинку. — По моему личному опыту, такие паззлы лучше всего получаются, если сначала собрать все кусочки с плоскими краями.

Мамины глаза обшаривают Дэнни с ног до головы: его лицо, губы под мазью, его бритую голову, прорехи по швам его футболки.

— Доброе утро, миссис Манчини, — начинаю. — Вас пришёл проведать ваш сын Виктор. Вот он, — говорю. — Хотите сообщить ему что-то важное?

— Ага, — подтверждает Дэнни, кивая. — Я Виктор.

Он начинает отбирать кусочки с плоскими краями.

— Эта синяя часть по идее небо или вода? — интересуется.

А мамыны старческие голубые глаза наполняются слезами.

— Виктор? — спрашивает она.

Прочищает глотку. Таращась на Дэнни, говорит:

— Ты здесь.

А Дэнни продолжает разгребать пальцами кусочки головоломки, выбирая те, что с плоскими краями и откладывая их в сторону. На щетине его бритой головы остались кусочки белого пуха от красной клетчатой рубашки.

И старческая мамина рука скрипит через стол, накрывая ладонь Дэнни.

— Так рада тебя видеть, — говорит она. — Как ты? Так давно не виделись.

Слезинка вытекает у неё из-под глаза и следует по морщинам в угол рта.

— Боже, — отзывается Дэнни, отдёргивая ладонь. — Миссис Манчини, у вас ледяные руки.

Моя мать отвечает:

— Прости.

Чувствуется запах какой-то закуски, вроде капусты или фасоли, которую здесь разваривают в кашу.

Всё это время продолжаю торчать рядом.

Дэнни выкладывает из кусочков несколько дюймов края. Спрашивает меня:

— Так а когда мы встретим твою ту самую замечательную докторшу?

Мама спохватывается:

— Ты же ещё не уходишь, правда? — смотрит на Дэнни мокрыми

глазами, и её старческие брови встречаются над переносицей. — Я так по тебе скучала, — говорит она.

Дэнни отзывается:

— Эй, братан, нам подфартило. Вот уголок!

Трясущаяся как у пьяницы мамина старческая рука с дрожанием поднимается и подбирает комок красного пуха у Дэнни с лысины.

И я вмешиваюсь:

— Простите, миссис Манчини, — говорю. — Вы, случайно, ничего не собирались рассказать вашему сыну?

Моя мама молча смотрит на меня, потом на Дэнни.

— Побудешь тут, Виктор? — спрашивает. — Нам надо поговорить. Мне так много всего нужно объяснить.

— Так объясните, — советую я.

Дэнни отвечает:

— Это, кажется, глаз, — говорит. — Так здесь что, по идее, чьё-то лицо?

Мама поднимает трясущуюся руку открытой ладонью в мою сторону и просит:

— Фред, всё только между мной и моим сыном. Это важный семейный вопрос. Пойди куда-нибудь. Иди посмотри телевизор и дай нам пообщаться наедине.

А я пытаюсь сказать:

— Но...

Но мама повторяет:

— Иди.

Дэнни говорит:

— Вот ещё уголок.

Дэнни выбирает все кусочки с синевой и откладывает их в сторону. Все кусочки одинаковой стандартной формы — жидкие крестики. Расплавленные свастики.

— Иди лучше взамен попробуй спасти ещё кого-нибудь, — говорит мама, не глядя на меня. Смотрит на Дэнни и продолжает. — Виктор пойдёт разыщет тебя, как только мы закончим.

Она наблюдает за мной, пока я не отступаю аж в коридор. После этого говорит Дэнни что-то, чего мне не расслышать. Её трясущаяся рука тянется и трогает блестящую синеватую лысину Дэнни, касается её прямо за ухом. В месте, где прекращается рукав пижамы, старческое её запястье кажется жилистым и тонким, коричневого цвета, как жаренная шейка индейки.

По-прежнему зарывшись носом в голову, Дэнни

передёргивается.

Меня накрывает запах, — запах подгузников, и надтреснутый голос позади заявляет:

— Ты тот, кто во втором классе швырнул в грязь все мои учебники.

По-прежнему наблюдая за мамой, пытаюсь разглядеть, что она говорит, отзываюсь:

— Да вроде бы.

— Что же, значит, ты наконец сознался, — произносит голос. Женщина, похожая на сушёный грибок, берёт меня под руку своими костями.

— Пошли со мной, — командует она. — Доктор Маршалл очень сильно хотела с тобой пообщаться. Где-нибудь наедине.

На ней надета красная клетчатая рубашка Дэнни.

Глава 14

Запрокинув голову, свой маленький чёрный мозг, Пэйж Маршалл указывает на бежевый сводчатый потолок.

— Когда-то здесь были ангелы, — сообщает она. — Говорят, они были потрясающе красивые, с крыльями из перьев и с настоящими позолоченными нимбами.

Старуха привела меня в большую часовню Сент-Энтони, большую и пустующую с тех времён, когда это был женский монастырь. Одна стена — витражи из десятков самых разных оттенков золотого. Всю другую стену занимает большое деревянное распятие. Между тем и другим стоит Пэйж Маршалл в своём больничном халате, который отсвечивает золотом под маленьким чёрным мозгом её волос. Она смотрит вверх через надетые очки в чёрной оправе. Вся чёрная с золотым.

— По директивам II Ватиканского устава, — рассказывает она. — Церковные стенные картины зарисовали. Фрески и ангелов. Извели большую часть статуй. Все те невероятные таинства веры. Всё исчезло.

Смотрит на меня.

Старуха ушла. Дверь часовни защёлкивается у меня за спиной.

— Смешно и грустно, — продолжает Пэйж. — То, как мы не можем ужиться с вещами, которые не в силах понять. То, как мы берём и отвергаем что-то, если не можем найти ему объяснение.

Сообщает:

— Я нашла способ спасти твоей матери жизнь, — говорит. — Но ты можешь не одобрить.

Пэйж Маршалл начинает расстёгивать пуговицы халата, и в разрезе показывается всё больше и больше кожи.

— Ты можешь счесть идею совершенно отталкивающей, — говорит.

Она распахивает халат.

Под ним она голая. Голая и белоснежная, как кожа у её волос. Белая, обнажённая и всего в четырёх шагах. И её очень даже можно. И она плечами выбирается из халата, так что тот ниспадает сзади, по-прежнему свисая с её локтей. Её руки остаются в рукавах.

Тут же все те тугие мохнатые тени, куда до смерти хотелось попасть.

— У нас есть только этот узенький промежуток для удобного случая, — говорит она.

И делает шаг ко мне. Всё ещё в очках. Ноги её по-прежнему в белых

туфлях на платформе, только здесь они кажутся золотыми.

Я был прав насчёт её ушей. Сто пудов, сходство потрясает. Ещё одна дырочка, которую ей не заткнуть, спрятанная и украшенная оборками кожи. Обрамлённая мягкими волосами.

— Если ты любишь свою мать, — говорит. — Если ты хочешь, чтобы она жила, ты должен сделать со мной это.

Сейчас?

— Пришло моё время, — говорит она. — У меня такой густой сок, что в нём ложка стоять будет.

Здесь?

— В другом месте мы увидаться не сможем, — говорит.

Её безымянный палец так же гол, как и всё остальное. Интересуюсь — она замужем?

— У тебя с этим какая-то проблема? — спрашивает. На расстоянии вытянутой руки изгиб её талии, спускающийся вниз по контуру её зада. Настолько же близко полочки обеих грудей с выпирающими чёрными пуговками сосков. Всего на расстоянии моей руки горячее местечко, в котором соединяются её ноги.

Отвечаю:

— Не-а. Нет. Какая там проблема.

Её руки берутся за мою верхнюю пуговицу, потом за другую, ещё за другую... Её руки сбрасывают рубашку мне через плечи, и та падает на пол позади меня.

— Просто чтобы ты знала, — говорю. — раз уж ты врач и все дела, — говорю. — Я вроде как излечивающийся сексоман.

Её руки отстёгивают пряжку у меня на ремне, и она отзывается:

— Значит, делай то, что должно естественно следовать.

От неё не пахнет розами, лимонами или хвоей. Вообще ничем таким не пахнет, даже кожей.

Пахнет от неё влагой.

— Ты не понимаешь, — говорю. — У меня было почти целых два дня воздержания.

Она горячо сияет в золотом свете. И всё равно у меня такое чувство, что если поцеловать её в губы, то они прилипнут, будто к ледяному металлу. Чтобы притормозиться, думаю про базально-клеточную карциному. Воображаю импетиго бактериальной инфекции кожи. Язвы роговицы.

Она тянет моё лицо себе в ухо. А мне в ухо шепчет:

— Отлично. Это делает тебе честь. Но что если ты отложишь

выздоровление до завтра...

Стаскивает с моих бёдер штаны и говорит:

— Хочу, чтоб ты наполнил меня своей верой.

Глава 15

Если будете в холле гостиницы, а там заиграет вальс «Дунайские волны» — валите к чертям оттуда. Не думайте. Бегите.

Сейчас уже ни о чём не скажут прямо.

Если будете в больнице, а в раковую палату вызовут сестру Фламинго — не приближайтесь к тем местам. Сестры Фламинго нет. И если вызовут доктора Блэйза — такого человека тоже нет.

В больших гостиницах этот вальс означает необходимость эвакуировать здание.

Почти во всех больницах сестра Фламинго значит пожар. И доктор Блэйз значит пожар. Доктор Грин означает самоубийство. Доктор Блю означает, что кто-то перестал дышать.

Все эти вещи мамуля рассказывала глупому маленькому мальчику, пока они сидели в потоке машин. Вот когда ещё у неё начала ехать крыша.

В тот самый день малыш сидел в классе, а леди из учительской заглянула сказать ему, что его вызов к стоматологу отменили. Минуту спустя он поднял руку и попросил разрешения выйти в туалет. Никакого вызова никогда не было. Ясное дело, кто-то позвонил и сказал, мол, они от стоматолога, но это был тайный сигнал. Он вышел в боковую дверь через столовую, и там в золотой машине ждала она.

То был второй раз, когда мамуля вернулась забрать его.

Она опустила окно и спросила:

— Знаешь, за что мамочка всё это время сидела в тюрьме?

— За перепутанную краску для волос? — сказал он.

См. также: Злоумышленное нанесение ущерба.

См. также: Соппротивление второй степени.

Она потянулась открыть дверцу и больше не замолкала. Днями и днями.

Если будешь в «Хард-Рок Кафе», рассказала она ему, а там объявят — «Элвис покинул здание», это значит, что все подносы нужно вернуть на кухню и выяснить, какое особое блюдо только что было распродано.

Такие вещи люди говорят тебе, когда не хотят сообщить правду.

В Бродвейском театре объявление «Элвис покинул здание» означает пожар.

Когда в бакалее вызывают мистера Кэша — это зовут вооружённого охранника. Вызов «Проверки груза в отдел дамского белья» означает, что в

том отделе кто-то ворует товар. Другие магазины вызывают женщину по имени Шейла. «Шейлу в центр» означает, что кто-то ворует товары в центральной части магазина. Мистер Кэш, Шейла и сестра Фламинго — всегда плохие новости.

Мамуля глушила мотор, и сидела, одну руку держа сверху на баранке, а пальцами другой щёлкала, требуя от мальчика повторять за ней эти вещи. Её ноздри были темны внутри от засохшей крови. Использованные скомканные платки, тоже в старых пятнах крови, валялись на полу машины. Немного крови осталось на приборной доске от её чиханий. Ещё чуть-чуть было на лобовом стекле изнутри.

— В школе тебя не научат ничему настолько важному, — заявила она. — Вещи, которым ты учишься здесь, помогут тебе выживать.

Щёлкнула пальцами.

— Мистер Эмонд Сильвестри? — спросила. — Если его вызывают, что нужно делать?

В некоторых аэропортах его вызов означает террориста с бомбой. «Мистер Эмонд Сильвестри, пожалуйста, подойдите к своей группе у ворот десять корпуса D» означает, что там спецназовцы найдут своего клиента.

Миссис Памела Рэнк-Меса означает всего лишь террориста с какой-то пушкой.

«Мистер Бернارد Уэллис, пожалуйста, подойдите к своей группе у ворот шестнадцать корпуса F» означает, что там кто-то держит нож у горла заложника.

Мамуля поставила машину а парковочный тормоз и снова щёлкнула пальцами:

— Быстро как зайчик. Что значит мисс Террилин Мэйфилд?

— Слезоточивый газ? — отозвался мальчик.

Мамуля помотала головой.

— Не говори, — попросил мальчик. — Бешеная собака?

Мамуля помотала головой.

Снаружи их машину плотной мозаикой окружали другие автомобили. Над шоссе рубили воздух вертолёт.

Мальчик похлопал себя по лбу и спросил:

— Огнемёт?

Мамуля ответила:

— Ты даже и не пытаешься. Подсказку хочешь?

— Подозреваемый на наркотики? — спросил мальчик, потом сказал. — Да, наверное, подсказку.

И мамуля произнесла:

— Мисс Террилин Мэйфилд... а теперь подумай о лошадях и коровах.

А мальчик выкрикнул:

— Сибирская язва! — он постучал себе кулаками по лбу, повторяя. — Сибирская язва. Сибирская язва. Сибирская язва, — похлопал себя по голове и добавил. — Как я забыл так быстро?

Свободной рукой мамуля взъерошила ему волосы и похвалила:

— Ты молодец. Запомнишь хоть половину из этого — уже переживёшь большую часть людей.

Где бы они ни ехали, мамуля разыскивала плотный поток движения. Слушала объявления по радио про то, где не проехать, и находила такие задержки. Находила пробки. Находила заторы. Искала горящие машины и разведенные мосты. Ей не нравилось быстро ездить, но хотелось казаться занятой. Застрав в потоке машин, она не могла ничего поделаться, притом не по своей вине. Они оказывались в ловушке. В укрытии и в безопасности.

Мамуля сказала:

— Загадываю простое, — она закрыла глаза, улыбнулась, потом открыла их и спросила. — В любом магазине, что значит, если просят четвертушек в кассу номер пять?

Оба они носили одни и те же вещи ещё с того дня, как она забрала его после школы. В каком бы мотеле они не остановились, когда он забирался в постель, мамуля щёлкала пальцами и требовала его штаны, рубашку, носки, трусы, а он передавал ей всё из-под одеяла. Утром, когда она возвращала ему вещи, иногда они были выстираны.

Когда в кассу просит четвертушек, сказал мальчик в ответ, имеют в виду, что там стоит красивая женщина, и всем нужно подойти на неё посмотреть.

— Ну, на самом деле не только, — заметила мама. — Но да.

Иногда мамуля засыпала, привалившись к дверце, а все другие машины объезжали их. Если работал мотор, иногда на приборной доске зажигались красные огоньки, о которых наш мальчик даже понятия не имел, показывая все аварийные случаи. В те разы из щелей капота начинал валить дым, и мотор замолкал сам по себе. Машины, застрявшие позади, начинали гудеть сигналами. По радио говорили о новом заторе: о машине, которая заглохла на центральной полосе дороги, заблокировав движение.

Когда люди сигналили и смотрели через окна на них, о которых сообщали по радио, глупый маленький мальчик считал, — такое значит быть знаменитым. Пока сигналы машин не разбудят её, мальчик махал рукой. Он вспоминал жирного Тарзана с обезьяной и каштанами. То, как

мужчина способен был удержать улыбку. То, что унижение будет унижением, только если ты сам решишь страдать.

Маленький мальчик улыбался навстречу всем злобным лицам, которые его разглядывали.

И наш маленький мальчик слал воздушные поцелуи.

Только когда в сигнал трубил грузовик, мамуля вскакивала и просыпалась. Потом снова тормозила и целую минуту откидывала с лица большую часть волос. Заталкивала в ноздрю белую пластиковую трубку и втягивала её. Проходила ещё минута бездействия, прежде чем она вытаскивала трубку и щурилась на маленького мальчика, торчащего рядом с ней на переднем сиденье. Щурилась на новоявленные красные огоньки.

Трубка была тоньше тюбика её помады, с нюхательной дырочкой на одном конце и чем-то вонючим внутри. После того, как она её нюхала, на трубочке всегда оставалась кровь.

— Ты в каком? — спрашивала она. — В первом? Во втором классе?

В пятом, отвечал маленький мальчик.

— И на этой стадии твой мозг весит три? Четыре фунта?

В школе он был круглым отличником.

— Так значит тебе сколько? — спрашивала она. — Семь лет?

Девять.

— Ладно, Эйнштейн, всё, что тебе рассказывали в этих приёмных семьях, — говорила мамуля. — Можешь смело забыть.

Сказала:

— Они, приёмные семьи, не знают, что важно.

Прямо над ними на месте завис вертолёт, и мальчик наклонился, чтобы смотреть прямо вверх через синюю полосу наверху ветрового стекла.

По радио рассказывали про золотой «Плимут Дастер», который заблокировал проезд по центральной полосе шоссе. Машина, говорили, видимо, перегрелась.

— В жопу историю. Все эти ненастоящие люди — самые важные люди, о которых ты должен знать, — учила мамуля.

Мисс Пэппер Хэйвиленд — это вирус Эбола. Мистер Тернер Эндерсон означает, что кого-то вырвало.

По радио сказали, что спасательные службы отправились помочь убрать заглохшую машину.

— Все вещи, которым тебя учили по алгебре и макроэкономике — можешь забыть, — продолжала она. — Вот скажи мне, что толку, если ты можешь извлечь квадратный корень из треугольника — а тут какой-то террорист прострелит тебе голову? Да ничего! Вот настоящее образование,

которое тебе нужно.

Другие машины клином объезжали их и срывались с места, визжа колёсами на большой скорости, исчезая в другие края.

— Я хочу только, чтобы ты знал больше, чем всякие там люди сочтут безвредным тебе сообщить, — сказала она.

Наш мальчик спросил:

— А что больше?

— А то, что когда думаешь об оставшейся тебе жизни, — ответила она, прикрыв газа рукой. — Ты никогда по-настоящему не заглядываешь дальше, чем на пару предстоящих лет.

И ещё она сказала такое:

— К тому времени, когда тебе наступит тридцать, твой худший враг — это ты сам.

Ещё она сказала такую вещь:

— Эра Просветления закончилась. И живём мы сейчас, что называется, в Эру Раз-просветления.

По радио сказали, что о заглохшей машине уведомили полицию.

Мамуля включила радио погромче.

— Чёрт, — произнесла она. — Умоляю, скажи мне, что это не мы.

— Говорят — золотой «Дастер», — отозвался мальчик. — Это наша машина.

А мамуля ответила:

— Это показывает, как мало ты знаешь.

Она открыла свою дверцу и скомандовала проскользнуть и выйти с её стороны. Посмотрела на быстрые машины, которые проезжали мимо низ, стремительно исчезая вдаль.

— Это не наша машина, — заявила она.

Радио орало, что, кажется, пассажиры покидают транспортное средство.

Мамуля помахала рукой, чтобы он за неё схватился.

— Я тебе не мать, — сказала она. — Вообще, даже близко.

Под ногтями у неё тоже была засохшая кровь.

Радио орало им вслед. «Водитель золотого „Дастера“ и маленький ребёнок сейчас подвергают себя опасности, пытаясь проскочить сквозь четыре полосы дорожного движения».

Она сказала:

— Похоже, у нас около тридцати дней, чтобы наскладировать весёлых приключений на всю жизнь. А потом истечёт срок у моих кредиток.

Сказала:

— Тридцать дней — если нас не поймают раньше.

Машины гудели и уклонялись. Радио орало им вслед. Вертолёты ревели над головой.

И мамуля скомандовала:

— А теперь — прямо как с вальсом «Дунайские волны», крепко возьми меня за руку, — сказала. — И не думай, — сказала. — Только беги.

Глава 16

Следующий пациент — женщина, возрастом около двадцати девяти лет, вверху на внутренней стороне бедра у неё родинка, которая выглядит ненормально. При таком свете трудно точно сказать, но она слишком большая свида, несимметричная, сине-коричневых оттенков. Бахромчатые края. Кожа вокруг вроде бы разодрана.

Спрашиваю — она её чесала?

И — не было ли у неё в семье случаев рака кожи?

Около меня, держа перед собой планшетку формата А5, сидит Дэнни, удерживая над зажигалкой конец пробки, поворачивая её, пока конец не станет чёрным, и Дэнни объявляет:

— Братан, я серьёзно, — говорит. — У тебя сегодня ночью какие-то дикие проявления враждебности. Ты что, позанимался этим?

Говорит:

— Вечно ты ненавидишь целый свет, как потрахнешься.

Пациентка падает на колени, её ноги широко расставлены. Она отклоняется назад и начинает толчками приближаться к нам в замедленном движении. Одними сокращениями мускулов задницы толкает свои плечи, груди, лобковые мышцы. Всё её тело волнами рвётся к нам.

Признаки меланомы нетрудно запомнить при помощи букв АБЦД:

Асимметричная форма.

Бахромчатый край.

Цветовые вариации.

Диаметр шире шести миллиметров.

Она бритая. Загорелая и смазанная до безупречности, она напоминает не столько женщину, сколько щель для втыкания кредитной карточки. Она толкает себя нам навстречу, и во мрачной красно-чёрной цветовой смеси выглядит лучше, чем есть на самом деле. Красные лампы стирают шрамы и синяки, прыщи, всякие там татуировки, плюс следы от резинок одежды и «дороги» от иглы.

Прикольно, что красота произведения искусства гораздо больше зависит от рамки, чем от самого творения.

Фокус со светом заставляет даже Дэнни казаться полным здоровья: его цыплячьи крылья-ручонки торчат из белой футболки. Планшетка у него светится жёлтым. Он подворачивает нижнюю губу и закусывает её, переводя взгляд с пациентки на свой труд, потом обратно на пациентку.

Толкая себя нам навстречу, перекрикивая музыку, та спрашивает:

— Что?

Она вроде бы натуральная блондинка, высокий фактор риска, поэтому интересуюсь — не было ли у неё накануне беспричинных потерь веса?

Не глядя на меня, Дэнни спрашивает:

— Братан, ты себе представляешь, сколько бы мне стоила настоящая модель?

Бросаю ему в ответ:

— Братан, не забудь набросать все её вросшие волосы.

Пациентку спрашиваю, не замечала ли та каких-нибудь нарушений в своём цикле или в испражнениях?

Стоя перед нами на коленях, широко расставив руки с чёрными крашеными ногтями по обе стороны в выгибаясь назад, глядя на нас по всей длине выгнутого дугой тела, она спрашивает:

— Что?

Ору:

— Мне нужно прощупать твои лимфоузлы!

А Дэнни окликает:

— Братан, так ты хочешь знать, что мне сказала твоя мама, или нет?

Ору:

— Ещё дай пальпировать твою селезёнку!

Делая быстрый набросок жжёной пробкой, он спрашивает:

— У тебя период стыда, я прав?

Блондинка обхватывает колени руками и перекачивается на спину, крутя по соску между большим и указательным пальцами каждой руки. Широко раззявив рот, демонстрирует нам согнутый язычок, потом сообщает:

— Дайкири, — говорит она. — Меня зовут Шерри Дайкири. Трогать меня нельзя, — говорит. — Но где та родинка, про которую ты сказал?

Все пункты медицинского осмотра нетрудно запомнить при помощи слов ОПИУМ САТАН. Такое на медфаке называют «мнемоника». Из букв строится следующее:

Основные жалобы.

Предыдущие заболевания.

История болезни.

Учёт наследственности.

Медикаментозное лечение.

Социальное положение.

Аллергические реакции.

Табак.

Алкоголь.

Наркотики.

Единственный способ запомнить хоть что-то из курса медицины — мнемоника.

Девушка, что была перед этой, тоже блондинка, но с парой старомодных увесистых буферов из того разряда, на которые можно пристроить подбородок, — эта предыдущая пациентка курила сигарету в качестве части представления, поэтому я спросил, не возникало ли у неё устойчивых болей в пояснице или брюшной полости. Не доводилось ли ей когда-либо терять аппетит, впадать в общее недомогание? При таком образе жизни, сказал я, ей бы стоило проверяться и регулярно сдавать мазок на анализы.

— Если выкуриваешь больше пачки в день, — поясняю. — В этом случае, я хочу сказать.

Неплохо бы попробовать конизацию, советую ей, или хотя бы соскоб уретры.

Она становится на руки и колени, вертит голым задом, своим розовым сморщенным дымоходом, в замедленном движении, оглядывается на нас через плечо и спрашивает:

— Что ещё за «конизация» такая?

Интересуется:

— Какое-то новенькое твоё увлечение? — и выдыхает дым мне в лицо.

Вроде как выдыхает.

Это когда вырезают конусовидный кусочек шейки матки, сообщают ей.

И она бледнеет: становится бледной даже под слоем косметики, даже под струями красно-чёрного света, и снова сводит ноги вместе. Кидает сигарету мне в пиво и говорит:

— У тебя с женщинами одна большая тема, — и уходит вдоль по сцене к следующему парню.

Ору ей вслед:

— Каждая женщина — просто задача с очередным условием!

По-прежнему держа в руке пробку, Дэнни хватает моё пиво и просит:

— Братан, не переводи... — потом сливает всё, кроме промокшего бычка, в свой стакан. Сообщает мне. — Твоя мама много рассказывает про какого-то доктора Маршалла. Говорит, он пообещал вернуть ей молодость, — продолжает. — Но только если ты согласишься сотрудничать.

А я отвечаю:

— Она. Это доктор Пэйж Маршалл. Она женщина.

Демонстрирует себя следующая пациентка, курчавая брюнетка, возрастом около двадцати пяти лет, проявляя признаки возможной недостаточности фолиевой кислоты: язык у неё красный и блестящий на вид, живот слегка рыхлый, глаза остекленевшие. Я спрашиваю — можно ли прослушать её сердце. На предмет пальпации. На предмет учащённого сердцебиения. Не было ли у неё случаев тошноты или поноса?

— Братан? — зовёт Дэнни.

Вопросы, которые следует задать о боли, это ХОМОПРОС: Характер, Описание приступов, Местоположение, Обострение, Продолжительность, Распространение, Облегчение и Сопутствующие симптомы.

Дэнни повторяет:

— Братан?

Бактерия под названием *Staphylo coccus aureus* принесёт вам КОГТЭПА: Кожные инфекции, Остеомиелит, Гемолиз, Токсический шок, Эндокардит, Пневмонию, Абсцесс.

— Братан? — зовёт Дэнни.

Заболевания, которые мать может передать потомству, это ЦИТРУС: Цитомегаловирус, Иные (имеется в виду герпес и ВИЧ), Токсоплазмоз, РУбелла и Сифилис. Поможет, если представить себе, как мать передаёт цитрус своему ребёнку.

Яблоко от яблони.

Дэнни щёлкает пальцами у меня под носом.

— Что за дела с тобой? С чего ты докатился до такого?

С того, что всё это правда. В таком мире живём мы с вами. Было дело, сдавал я ВТМК. Вступительный Тест Медицинского Колледжа. Я проучился на государственном медфакультете достаточно, чтобы знать: родинка — это совсем не просто родинка. Что обычная головная боль значит опухоль мозга, — значит двоящееся зрение, оцепенение, рвоту, за которыми следуют припадки, сонливость, смерть.

Лёгкая мышечная конвульсия значит бешенство, — значит мышечные судороги, жажду, помешательство и слюнотечение, за которыми следуют припадки, кома, смерть. Прыщи означают кисту яичников. Чувство лёгкой усталости означает туберкулёз. Налитые кровью глаза означают менингит. Сонливость — первый признак брюшного тифа. Мушки перед глазами, которые можно наблюдать в солнечный день, означают, что у тебя отслаивается сетчатка. Ты слепнешь.

— Видишь, какие у неё ногти на руках, — сообщаю Дэнни. — Верный признак рака лёгких.

Сбивчивость означает, что накрылись почки, серьёзную почечную недостаточность.

Всему этому учат в рамках курса лабораторной диагностики, на втором году медфака. Узнаёшь всё это — и назад дорога закрыта.

Неученье было свет.

Простой синяк означает цирроз печени. Отрыжка значит рак прямой кишки, рак пищевода, или, в самом лучшем случае, язву желудка.

Каждое дуновение ветерка словно шепчет слова «чешуйчатая карцинома».

Птички на деревьях словно щебечут «гистоплазмоз».

В любом раздетом человеке видишь пациента. У танцовщицы могут быть ясные красивые глаза и твёрдые коричневые соски, но если запах изо рта плохой — тогда у неё лейкемия. У танцовщицы могут быть густые, длинные, чистые на вид волосы, но если она чешет голову — тогда у неё лимфома Годжкина.

Дэнни страница за страницей заполняет свою планшетку набросками фигур: прекрасными улыбающимися женщинами; худенькими женщинами, которые шлют ему воздушные поцелуи; женщинами, лица у которых склонены, но глаза подняты на него и смотрят сквозь упавшие волосы.

— Потеря чувства вкуса, — сообщаю Дэнни. — Значит рак ротовой полости.

А Дэнни, не глядя на меня, переводя взгляд туда-обратно между своим наброском и очередной танцовщицей, отзывается:

— Тогда, братан, у тебя такой рак уже давно.

Даже если мама умрёт, не уверен, захочется ли мне возвращаться и восстанавливаться до истечения срока пересдачи долгов. Я и так уже знаю куда больше того, с чем можно спокойно жить.

После того, как узнаешь про все вещи, которые могут выйти из строя, жизнь твоя становится не столько жизнью, сколько ожиданием. Рака. Слабоумия. Каждый раз как взглянешь в зеркало, сразу изучаешь себя на предмет красной сыпи, которая значит опоясывающий лишай. См. также: Стригущий лишай.

См. также: Чесотка.

См. также: Энцефалит, менингит, ревматизм, сифилис.

Теперь себя демонстрирует следующая пациентка, ещё одна блондинка, худенькая, — быть может, даже слишком худая. Опухоль позвоночника, скорее всего. Если в наличии головная боль, лёгкий жар, воспалённое горло — у неё полиартрит.

— Давай вот так, — кричит ей Дэнни, прикрывая свои очки ладонями.

Пациентка слушается.

— Красота, — отмечает Дэнни, быстро делая набросок. — Как насчёт немного приоткрыть рот?

И она слушается.

— Братан, — говорит он. — Студийные модели никогда не дают столько страсти.

А я вижу только, что она не особо хорошо танцует, и, стопудово — такая координационная недостаточность означает амиотрофический поперечный склероз.

См. также: Болезнь Лу Грига.

См. также: Полный паралич. См. также: Затруднённое дыхание. См. также: Спазмы, слабосилие, слёзы.

См. также: Смерть.

Ребром ладони Дэнни размазывает следы жжёной пробки, чтобы добавить тень и глубину. На рисунке женщина со сцены, закрывшая глаза руками, слегка приоткрывшая рот, — и Дэнни быстро добавляет штрихи; его взгляд возвращается к женщине ухватить новые подробности: её пупок, изгиб её бёдер. Претензия у меня одна: Дэнни рисует женщин не такими, как они выглядят на самом деле. По версии Дэнни рыхлые бёдра у одних женщин кажутся каменно-твёрдыми. Мешковатые глаза у других женщин станут ясными и оттенёнными снизу.

— У тебя денег не осталось, братан? — спрашивает Дэнни. — Не хочу, чтобы она прямо сейчас отвалила.

Но я без гроша, и девчонка уходит вдоль по сцене к следующему парню.

— Давай глянем, Пикассо, — говорю ему.

А Дэнни трёт себя под глазом, оставляя большое пятно сажи. Потом наклоняет планшетку, чтобы мне стало видно обнажённую женщину, закрывшую руками глаза, гладкую и туго натянутую от мышц: ничто в её внешнем виде не изгажено гравитацией, ультрафиолетом или плохим питанием. Она крепкая, но мягкая. Выгнутая, но расслабленная. Она полностью невозможна с физической точки зрения.

— Братан, — говорю. — Больно молодой она у тебя вышла.

Следующая пациентка — снова Шерри Дайкири, возвращается к нам, уже не улыбаясь, — туго всасывает одну щёку и спрашивает меня:

— Эта моя родинка... Ты уверен, что это рак? То есть, ну, не знаю, насколько мне нужно опасаться?..

Не глядя на неё, поднимаю палец. Этот универсальный знак языка жестов для «Подождите минутку. Доктор скоро вас осмотрит».

— Ляжки у неё уж точно не такие тонкие, — рассказываю Дэнни. — И жопа куда больше, чем у тебя тут.

Наклоняюсь посмотреть работу Дэнни, потом разглядываю последнюю пациентку на сцене.

— Нужно сделать ей более шишковатые колени, — советую.

Танцовщица посылает мне со сцены порочный взгляд.

Дэнни молча продолжает делать набросок. Подрисовывает ей большие глаза. Доводит её до ума. Всё делает неправильно.

— Братан, — говорю. — Художник из тебя не очень.

Говорю:

— Серьёзно, братан, вообще ни на что не похоже.

Дэнни отзывается:

— Прежде, чем обосрёшь весь мир, обязательно не забудь позвонить своему спонсору, — говорит. — И, на тот случай, если тебе ещё не насрать: твоя мама сказала, что ты должен почитать, что написано в её справочнике.

Шерри, которая присела на корточки около нас, я говорю:

— Если ты на полном серьёзе хочешь спасти себе жизнь — могу поговорить с тобой где-нибудь наедине.

— Нет, не в справочнике, — спохватывается Дэнни. — В дневнике. На случай, если тебе станет интересно, откуда ты на самом деле взялся, про всё написано в её дневнике.

А Шерри закидывает одну ногу через край и начинает слезать со сцены.

Спрашиваю его — так что там в дневнике моей мамы?

И Дэнни, продолжая рисовать свои картинки, видя невозможное, отвечает:

— Точно, в дневнике. Не в справочнике, братан. Про всё, кто твой настоящий папа, написано в её дневнике.

Глава 17

В Сент-Энтони девушка за конторкой зевает себе в руку, а когда спрашиваю, не хочет ли она сходить выпить чашечку кофе, — смотрит на меня краем глаза и отзывается:

— Не с тобой.

А я, серьёзно, к ней и не лезу. Могу последить за её столом сколько нужно, пока она сходит за кофе. Я не заигрываю.

Серьёзно.

Говорю:

— У вас усталые глаза.

Она только и делает, что сидит здесь, записывает-выписывает несколько человек в день. Смотрит на видеоэкран, который показывает внутренности Сент-Энтони: каждый коридор, зал, столовую, сад, — картинка сменяется следующей каждые десять секунд. Изображение чёрно-белое, зернистое от помех. На экране на десять секунда показывается столовая: она пуста, и все стулья лежат вверх ногами на своих столах, хромированные ножки каждого торчат в воздух. На следующие десять секунд появляется длинный коридор, в котором кто-то сидит у стены, взгромоздившись на лавку.

Потом, на следующие десять мохнатых чёрно-белых секунд, там Пэйж Маршалл, которая толкает мою маму в коляске по очередному из длинных коридоров.

Девушка с конторки говорит:

— Я отойду только на минутку.

Около видеоэкрана — древний динамик. Обтянутый узловатой диванной шерстью, такой динамик старого образца, как были в радио, с круглым окружённым номерами переключателем. Каждый номер — какое-то помещение в Сент-Энтони. На столе микрофон, чтобы можно было делать объявления. Поворачивая переключатель на нужный номер по шкале, можно прослушать любое помещение в здании.

И на какой-то миг из динамика долетает голос моей мамы, слова:

— Я посвятила себя и свою жизнь всему тому, чего была против...

Девушка переключает интерком на цифру девять по шкале, и теперь слышны звуки испанского радио и гроыхание железных кастрюль из кухни, оттуда, где кофе.

Говорю девчонке:

— Не торопитесь если что, — и. — Я не чудовище, как вы тут, может, слышали от всяких обозлённых.

Даже при всей моей обходительности, она кладёт свою сумочку в стол и запирает его. Говорит:

— Это не займёт больше пары минут. Ладно?

Ладно.

Потом она уходит за бронированные двери, а я сажусь за её стол. Смотрю на экран: тут зал, сад, какой-то коридор, каждые десять секунд. Высматриваю Пэйж Маршалл. Одной рукой переключаюсь с номера на номер, прослушивая каждое помещение на предмет доктора Пэйж Маршалл. На предмет мамы. В чёрно-белом цвете, почти вживую.

Пэйж Маршалл со всей её кожей.

Другой вопрос из списка сексомана:

«Вы подрезаете внутреннюю часть карманов ваших брюк, чтобы иметь возможность мастурбировать на публике?»

В зале сидит кто-то седой, с головой зарывшись в головоломку.

В динамике только статические разряды. Белый шум.

Спустя десять секунд, в комнате для кружков за столом сидят старухи. Женщины, которым я исповедовался в том, что разбил их машины, разбил их жизни. Взяв на себя вину.

Прибавляю громкость и прикладываю ухо к диванной ткани динамика. Не зная, какую комнату означает какой номер, переключаюсь между номерами и слушаю.

Другая моя рука проскальзывает в то, что когда-то было карманом бриджей.

Перехожу с номера на номер: кто-то хлопает носом на третьем. Где бы это ни было. Кто-то матерится на пятом. Молится на восьмом. Где бы это ни было. На девятом снова кухня, испанская музыка.

Монитор показывает библиотеку, очередной коридор, потом показывает меня: зернистого чёрно-белого меня, сторбившегося за конторкой, уткнувшегося в экран. Меня, вцепившегося одной рукой в управляющий переключатель интеркома. А другая моя размытая рука засунута по локоть внутрь бриджей. Подсматриваем. Камера в холле подсматривает за мной.

А я подсматриваю за Пэйж Маршалл.

Подслушиваю. Где её можно найти.

«Подкрадываюсь» — неподходящее слово, но это первое, что приходит на ум.

Экран демонстрирует мне одну старуху за другой. Потом, на десять

секунд, там Пэйж, которая толкает мою маму в коляске по очередному из длинных коридоров. Доктор Пэйж Маршалл. И я кручу ручку, пока могу слышать голос моей мамы:

— Конечно, — рассказывает она. — Я сражалась против всего, но всё чаще и чаще волновалась, что ни разу не была за что-то.

Экран демонстрирует сад, согнутых над костылями старух. Вязнущих в гравии.

— Ой, критиковать, осуждать и жаловаться можно на что угодно, но куда это приведёт меня? — продолжает рассказывать мама, её голос остаётся на заднем плане, пока экран по кругу демонстрирует другие помещения.

На экране столовая, там пусто.

На экране сад. Ещё старики.

Прямо какой-то очень подавляющий веб-сайт. «Смерте-Кэм».

Какой-то чёрно-белый документальный фильм.

— Ныть — это не создавать что-то, — продолжает мамин голос на заднем плане. — Восставать — не восстанавливать. Высмеивать — не возмещать... — и голос в динамике угасает.

Монитор показывает зал и женщину, с головой зарывшуюся в головоломку.

А я переключаюсь с номера на номер, в поисках.

На пятом номере её голос возвращается:

— Мы разобрали мир на части, — говорит она. — Но теперь понятия не имеем, что делать с этими частями, — и голос её снова исчезает.

Монитор демонстрирует один за другим пустые коридоры, которые тянутся во тьму.

На седьмом номере голос возвращается:

— Всё моё поколение: сколько бы мы ни прикалывались над разными вещами, это не делает мир лучше ни на грамм, — говорит она. — Мы провели столько времени, высмеивая созданное другими людьми, что сами создали очень и очень мало.

Её голос доносится из динамика:

— Свой бунт я использовала, как способ укрыться. Критикой мы пользовались, как ложным участием.

Голос на заднем плане:

— Только с виду кажется, будто мы чего-то достигли.

Голос на заднем плане:

— Я так и не вложила в наш мир ничего стоящего.

И на десять секунд экран демонстрирует мою маму и Пэйж в коридоре

прямо у входа в комнату для кружков.

Из динамика доносится шершавый и далёкий голос Пэйж Маршалл:

— А как же ваш сын?

Мой нос уткнулся в экран — вот так я близко.

А теперь на экране я, прижавшийся ухом к динамику, одной рукой что-то быстро дёргающий туда-сюда в штанине.

На заднем плане Пэйж спрашивает:

— Как же Виктор?

И, на полном серьёзе, я почти кончаю.

А мамин голос отзывается:

— Виктор? У Виктора, несомненно, есть свои способы бегства.

Потом на заднем плане она смеётся и говорит:

— Материнство — опиум для народа!

И сейчас на экране прямо за моей спиной стоит девушка с конторки с чашкой кофе в руке.

Глава 18

В мой следующий визит мама ещё тоньше, если такое возможно. Шея у неё с виду кажется такой толщины, как моё запястье, жёлтая кожа тонет в глубоких пустотах между связками и глоткой. Лицо её не скрывает череп, заключённый вовнутрь. Она перекачивает голову на бок, чтобы увидеть меня, стоящего в дверях, а уголки её глаз забиты какой-то серой слизью.

Одеяло безвольно и пусто свисает между двумя возвышенностями её берцовых костей. Единственные другие ориентиры, которые можно разглядеть — это колени.

Она просовывает руку сквозь хромированные перила кровати, жуткую и тощую, — словно ко мне тянется куриная лапа, и сглатывает. Её челюсти движутся с усилием, между губ паутина слюней; и вот она говорит мне, тянется и говорит мне:

— Морти, — говорит. — Я не сутенёрша, — руки сжаты в узловатые кулачки, она трясёт ими в воздухе и продолжает. — Делаю заявление феминистки. Как такое могло оказаться проституцией, если все те женщины были мертвы?

Я принёс красивый букетик цветов и открытку с пожеланиями выздоровления. Это прямо после работы, поэтому на мне бриджи и камзол. Ботинки с пряжками и чулки со стрелкой, которые демонстрируют мои тощие ляжки, заляпаны грязью.

А мама требует:

— Морти, тебе нужно настоять, чтобы всё дело вышвырнули из суда, — и со вздохом укладывается на кучу подушек. От слюней изо рта белая наволочка окрашивается в светло-голубой, касаясь её щеки.

Открытка с пожеланиями выздоровления здесь не поможет.

Её рука хватается за воздух, и она просит:

— Ах да, и кстати, Морти, тебе нужно позвонить Виктору.

В её комнате тот самый запах, так же пахнут теннисные туфли Дэнни в сентябре, после того, как он таскает их всё лето без носков.

От красивого букетика цветов здесь толку ни на грамм.

В кармане моего камзола — её дневник. Между страницами дневника торчит старый счёт от центра по уходу. Втыкаю цветы в утку, пока отправляюсь поискать вазу и, может быть, что-нибудь ей поесть. Столько той фигни, шоколадного пудинга, сколько смогу унести. Что-нибудь, что можно затолкать ложкой ей в рот и заставить проглотить.

При таком её виде, я не могу находиться здесь и не могу в другом месте. Когда ухожу, она говорит:

— Тебе нужно поторопиться и разыскать Виктора. Ты должен заставить его помочь доктору Маршалл. Прошу. Он должен помочь доктору Маршалл спасти меня.

Как будто что-то бывает случайно.

Снаружи в коридоре доктор Маршалл, на ней очки, она читает что-то с планшетки.

— Думаю, тебе будет интересно, — говорит. Склоняется к перилам, опоясывающим коридор, и продолжает. — Что вес твоей матери за эту неделю упал до восьмидесяти пяти фунтов.

Убирает планшетку за спину, обеими руками прижав её к перилам. Из-за такой позы её груди выпячиваются вперёд. Бедра выгибаются мне навстречу. Пэйж Маршалл проводит изнутри языком по нижней губе и спрашивает:

— Ещё не думал насчёт что-нибудь предпринять?

Система поддержки жизни, питание через трубку, аппараты искусственного дыхания — в медицине такое называют «героические меры».

«Не знаю», — говорю.

Стоим на месте в ожидании, пока кто-то из нас сдвинется хоть на дюйм.

Две улыбающиеся старушки тащатся мимо нас, одна показывает пальцем и сообщает другой:

— Это тот милый юноша, про которого я тебе рассказывала. Это он удавил моего котика.

Другая дама, в криво застёгнутом свитере, отзывается:

— И не говори, — отвечает. — Один раз он избил мою сестру чуть не до смерти.

Они тащатся вдаль.

— Очень мило, — замечает доктор Маршалл. — Я про то, что ты делаешь. Ты даёшь этим людям завершение самых больших проблем их жизней.

Сейчас она смотрится так, что приходится думать про аварии из кучи машин. Представлять кровавую кашу из двух вмазавшихся лоб в лоб автомобилей. Она выглядит так, что приходится воображать братские могилы, чтобы удержаться в седле хоть полминуты.

Думать о сгнившей кошачьей жратве, воспалённых язвах и просроченных органах для пересадки.

Вот так прекрасно она выглядит.

Прошу её прощения, но мне по-прежнему надо разыскать немного пудинга.

Она спрашивает:

— Это потому, что у тебя есть девушка? В этом вся причина?

Причина того, что у нас не вышло секса в часовне пару дней назад. Причина того, что даже при всей её наготе и готовности — я не смог. Причина того, почему я смылся.

На предмет полного списка моих девушек обратитесь, пожалуйста, к материалам по моему четвёртому шагу.

См. также: Нико.

См. также: Лиза.

См. также: Таня.

Доктор Маршалл выгибает мне навстречу свои бёдра и спрашивает:

— Ты знаешь, как умирает большинство пациентов вроде твоей матери?

От голода. Забывают, как глотать, и непроизвольно вдыхают лёгкими еду и питьё. Их лёгкие забиваются гниющей массой и жидкостью, начинается воспаление, и они умирают.

Говорю — «Знаю».

Говорю — могут быть вещи и похуже того, чем взять и позволить умереть кому-то старому.

— Она не просто кто-то старый, — возражает Пэйж Маршалл. — Она твоя мать.

И ей уже почти семьдесят лет.

— Ей шестьдесят два, — отвечает Пэйж. — И раз есть что-то, что можно сделать, чтобы спасти её, а ты не сделаешь, то получится убийство по небрежности.

— Другими словами, — спрашиваю. — Я должен сделать тебя?

— Слышала про твои достижения от кое-кого из медсестёр, — отвечает Пэйж Маршалл. — Мне известно, что у тебя нет предубеждений против рекреативного секса. Или же дело во мне? Я что — не твой тип? Это так?

Мы оба затихаем. Мимо проходит дипломированная помощница медсестры, толкая тележку с узлами простыней и сырых полотенец. У неё обувь на резиновой подошве, а у тележки резиновые колёсики. Пол покрывает древний пробковый паркет, отполированный пешеходным потоком до тёмных тонов, поэтому она проходит беззвучно, оставляя за собой только слабенький шлейф запаха мочи.

— Пойми меня правильно, — говорю. — Я хочу тебя оттрахать. Я очень хочу тебя оттрахать.

Вдали по коридору помощница медсестры останавливается и оглядывается на нас. Зовёт:

— Эй, Ромео, дал бы ты бедной доктору Маршалл передохнуть.

Пэйж отзывается:

— Всё хорошо, мисс Паркс. Это наше с мистером Манчини дело.

Мы оба наблюдаем, как она ухмыляется и толкает тележку дальше, скрываясь за углом. Её зовут Ирэн, Ирэн Паркс, — и, ладно, допустим, мы с ней занимались кое-чем в её машине год назад, примерно в это же время.

См. также: Кэрен из Ар-Эн.

См. также: Женин из Си-Эн-Эй.

В те разы мне казалось, что каждая из них должна быть кем-то особенным, но без одежды они оказывались как все на свете. Теперь её задница так же заманчива, как точилка для карандашей.

Объясняю Пэйж Маршалл:

— Тут-то ты как раз ошибаешься, — говорю. — Я так сильно хочу тебя оттрахать, что аж накрывает, — говорю. — И, нет, я не желаю никому смерти, но и не хочу, чтобы мама снова стала такой, как была когда-то.

Пэйж Маршалл вздыхает. Стягивает рот в тугой узелок и молча на меня таращится. Прижимает свою планшетку к груди, сложив руки крест-накрест.

— Значит, — говорит она. — Дело тут совсем не в сексе. Ты просто не хочешь, чтобы твоя мать выздоровела. Ты просто не умеешь ладить с сильными женщинами, и считаешь, что если она умрёт, то твои связанные с ней заботы тоже.

Мама кричит из своей комнаты:

— Морти, за что я тебе плачу?

Пэйж Маршалл продолжает:

— Можешь врать моим пациентам и разрешать их жизненные конфликты, но не ври сам себе, — потом прибавляет. — И не ври мне.

Пэйж Маршалл говорит:

— Ты скорее захочешь увидеть её мёртвой, чем выздоровевшей.

А я отвечаю:

— Да. То есть, нет. То есть, не знаю.

Всю свою жизнь я пробыл не столько ребёнком своей матери, сколько её заложником. Объектом её общественных и политических экспериментов. Её личной лабораторной крысой. А теперь она моя, — и ей не сбежать посредством смерти или выздоровления. Просто мне нужен хоть один

человек, которого можно спасать. Мне нужен один человек, который во мне нуждается. Который жить без меня не может. Я хочу быть героем, но не однократно. Пускай даже это значит держать её в беспомощности — я хочу быть чьим-то постоянным спасителем.

— Понимаю-понимаю-понимаю, это звучит ужасно, — Но, даже не знаю... Я считаю вот что.

Теперь мне придётся рассказать Пэйж Маршалл, что считаю на самом деле.

Я хочу сказать — просто надоело всё время быть неправым только потому, что я парень.

Я хочу сказать — сколько можно выслушивать от всех, что ты жестокий, предвзятый враг, пока не сдашься и не станешь таковым. Я хочу сказать, козлом-женоненавистником не рождаются, им становятся, — и всё больше из них становятся такими благодаря женщинам.

Спустя какое-то время берёшь и складываешь лапки, и принимаешь факт, что ты женофоб; нетерпимый, бесчувственный, кретинский кретин. Женщины правы. Ты неправ. Привыкаешь к мысли. Сживаешься с тем, что от тебя ожидают.

Даже если ботинок мал, подожмёшься под размер.

Я хочу сказать, — в мире, где нет Бога, разве матери — не новый бог? Последняя сокровенная недостижимая инстанция. Разве материнство не осталось последним настоящим волшебным чудом? Но чудом, невозможным для мужчин.

И пускай мужчины заявляют, что сами рады не рожать, — всякая там боль и кровь, — но на самом деле, всё это тот же самый кислый виноград. Сто пудов, мужчины неспособны сделать ничего даже близко потрясающего. Выигрыш в физической силе, абстрактное мышление, фаллосы — все мужские преимущества кажутся уж больно условными.

Фаллосом даже гвоздь не забьёшь.

Женщины же сразу рождаются с куда большими потенциальными способностями. Только в тот день, когда мужчина сможет родить, — только тогда мы сможем начать разговор о равных правах.

Пэйж я это всё не рассказываю.

Взамен говорю, что мне просто хочется быть ангелом-хранителем хотя бы для одного человека.

«Месть» — неподходящее слово, но это первое, что приходит на ум.

— Тогда спаси её, оттрахав меня, — советует доктор Маршалл.

— Но мне не нужно вообще полностью её спасать, — говорю. — Я до ужаса боюсь её потерять, но если иначе — то могу потерять себя.

В кармане моей куртки по-прежнему лежит мамин красный дневник. По-прежнему нужно разыскать шоколадный пудинг.

— Ты не хочешь, чтобы она умерла, — подытоживает Пэйж. — И тебе не нужно, чтобы она выздоровела. Так что же тебе нужно?

— Мне нужен кто-то, кто умеет читать по-итальянски, — отвечаю.

Пэйж спрашивает:

— Например, что?

— Вот, — говорю, и показываю ей дневник. — Это мамин. Он на итальянском.

Пэйж берёт тетрадку, пролистывает. Уши у неё по краю горят красным от возбуждения.

— Четыре года отходила на итальянский по студенчеству, — сообщает. — Могу сказать, что здесь написано.

— Я просто хочу держать всё под контролем, — говорю. — А взамен — хочу оставаться взрослым.

Продолжая пролистывать тетрадку, доктор Пэйж Маршалл замечает:

— Тебе хочется держать её в слабости, чтобы всегда быть во главе, — поднимает на меня взгляд и говорит. — Звучит так, словно тебе охота быть Богом.

Глава 19

Чёрно-белые цыплята таскаются по Колонии Дансборо; цыплята со сплюснутыми головами. Есть цыплята без крыльев или только с одной лапой. Бывают цыплята вообще без ног, шлёпающие по грязи коровника на одних растрёпанных крылышках. Слепые цыплята без глаз. Без клювов. Урождённые такими. Дефективные. Родившиеся уже сразу с разбитыми маленькими цыплячьими мозгами.

Существует невидимая грань между наукой и садизмом, но тут её сделали видимой.

Речь не о том, что мои собственные мозги будут стоять большего. Вон, гляньте на мою маму.

Посмотрела бы доктор Маршалл, как они все тут кувыркаются. Я не о том, что она поняла бы.

Дэнни здесь же, со мной: Дэнни лезет в задний карман штанов и вытаскивает газетную страницу для частных объявлений, сложенную в маленький квадратик. Сто пудов, это контрабанда. Его Королевское Высокогубернаторство увидит — и Дэнни будет наказан вплоть до увольнения. На полном серьёзе, прямо на скотном дворе у коровника, Дэнни вручает мне эту газетную страницу.

Если не считать газеты, мы очень аутентичны, — ничего на нас надетого в этом веке словно и не стирали.

Люди щёлкают снимки, пытаюсь забрать кусочек тебя домой в качестве сувенира. Люди направляют камеры, стараясь втянуть тебя в свой отдых. Каждый снимает тебя, снимает хромых цыплят. Все пытаются заставить каждую текущую минуту длиться вечно. Сохранить каждую секунду.

Из коровника кто-то булькает, всасывая воздух через бульбулятор. Их не видно, но чувствуется немая напряжённость кучки людей, присевших кружком, пытающихся удержать дыхание. Кашляет девушка. Это Урсула, доярка. Там такие густые пары плана, что кашляет и корова.

Здесь нам положено подбирать засохшие коровьи эти самые, ну, коровьи кучи, а Дэнни начинает:

— Почитай, братан. Объявление в кружке, — разворачивает страницу, чтобы показать мне. — Вот объявление, здесь, — говорит. Там одно объявление обведено красными чернилами.

Когда рядом доярка. И туристы. Тут не меньше триллиона путей, чтобы нас поймали. На полном серьёзе, Дэнни наглый как никто.

В моей руке ещё теплый от его зада листок, а когда я отзываюсь:

— Не здесь, братан, — и пытаюсь вернуть бумажку...

Только начинаю, Дэнни спохватывается:

— Извини, не собирался, то есть, тебя втягивать. Если хочешь, могу взять сам тебе почитать.

Для школьников, которые сюда приходят, великое дело — посетить курятник и понаблюдать, как высиживаются яйца. Хотя обычный цыплёнок ведь не представляет такой интерес, как, скажем, цыплёнок с только одним глазом, или цыплёнок без шеи, или с недоразвитой парализованной лапой, — поэтому ребяташки трясут яйца. Трясут их хорошенько — и кладут обратно в кладку.

Ну и что, если уродится деформированное или ненормальное? Всё в образовательных целях.

Везучие рождаются уже сразу мёртвыми.

Любопытство или жестокость, — сто пудов, мы с Пэйж Маршалл можем кружить и кружить вокруг этой темы.

Сгребаю несколько коровьих куч, с осторожностью, чтобы они не ломались пополам. Чтобы их сырые внутренности не завоняли. Раз у меня все руки в коровьем дерьме — нельзя грызть ногти.

Стоя рядом, Дэнни зачитывает:

— «Ищу хорошее жильё; двадцатитрёхлетний парень, лечащийся самоистязатель, с ограниченным доходом и общественными навыками, доморощенный», — потом читает номер телефона. Номер его собственный.

— Это мои предки, братан, их номер телефона, — говорит Дэнни. — Это они так намекают.

Он нашёл это оставленным на своей кровати прошлым вечером.

Дэнни сообщает:

— Они про меня.

Говорю — «Да я врубился, о чём там». Деревянной лопатой продолжаю поднимать кучи навоза, сваливая их в плетёную эту самую. Ну, вы поняли. В корзину эту.

Дэнни спрашивает — можно ему прийти пожить у меня?

— Тут мы уже обсуждаем план «зю», — говорит Дэнни. — Прошу тебя как последнее пристанище.

Потому что ему неудобно меня тревожить, или же потому, что он пока не рехнулся, чтобы у меня селиться, — не спрашиваю.

В дыхании Дэнни можно унюхать кукурузные хлопья. Ещё одно нарушение исторического образа. Он просто магнитом говно притягивает. Доярка Урсула выходит из коровника и смотрит на нас вмазанными

глазами, почти налитыми кровью.

— Если бы тебе нравилась какая-то девчонка, — спрашиваю его. — И если бы она хотела секса только чтобы забеременеть, ты бы согласился?

Урсула задирает юбки и топает через коровий навоз на деревянных башмаках. Пинает слепого цыплёнка, мешающего пройти. Кто-то щёлкает её на плёнку в процессе пинания. Семейная пара просит было Урсулу поддержать их ребёнка для снимка, но потом, наверное, замечает её глаза.

— Не знаю, — отзывается Дэнни. — Ребёнок — это же не собаку завести. Я хочу сказать, дети живут очень долго, братан.

— Ну, а если она не планировала бы оставить ребёнка? — спрашиваю.

Дэнни поднимает взгляд, потом опускает, глядя в пустоту, потом смотрит на меня:

— Не врубаюсь, — говорит. — Ты имеешь в виду, типа продать его?

— Я имею в виду — типа принести его в жертву, — отвечаю.

А Дэнни говорит:

— Братан.

— Просто предположим, — рассказываю. — Что она собирается раздавить мозг этого нерождённого зародыша, высосать всю кашу большой иглой, а потом впрыснуть эту фигню в голову кое-кого из твоих знакомых, у кого повреждение мозга, чтобы его вылечить, — говорю.

У Дэнни отвисает челюсть:

— Братан, ты же это не про меня, а?

Я это про мою маму.

Такое называется «пересадка нервных клеток». Некоторые зовут её «прививка нервных клеток», и это единственный эффективный способ отстроить заново мамин мозг на такой поздней стадии. Он был бы шире известен, если бы не проблема с получением, ну, ключевого ингредиента.

— Ребёнка изнутри, — произносит Дэнни.

— Зародыша, — поправляю.

«Зародышевая ткань», как сказала Пэйж Маршалл. Наша доктор Маршалл с её кожей и ртом.

Урсула останавливается возле нас и показывает на листок газеты в руке Дэнни. Объявляет:

— Раз уж дата на нём не 1734 год — ты в жопе. Это нарушение образа.

Волосы на голове Дэнни пытаются отрасти, только некоторые вросли и спрятаны под белыми и красными прыщиками.

Урсула отступает, потом оборачивается.

— Виктор, — зовёт. — Если я тебе понадобится — пошла сбивать масло.

Говорю — «позже». И она отваливает.

Дэнни спрашивает:

— Братан, так у тебя значит выбор между мамой и первенцем?

Дело нехитрое, как оно видится доктору Маршалл. Мы делаем такое каждый день. Убиваем нерожденных, чтобы спасти пожилых. В золотых струях часовни, выдыхая свои аргументы мне в ухо, она спросила — каждый раз, когда мы жжём галлон топлива или акр джунглей, разве мы не убиваем будущее, чтобы сохранить настоящее?

Полнейшая пирамидальная схема Социального страхования.

Она сказала, когда её груди торчали между нас, — сказала: «Я иду на это, потому что мне небезразлична твоя мать. А ты мог бы как минимум выполнить свою маленькую роль».

Я не спрашивал, что значит маленькую роль.

А Дэнни просит:

— Так расскажи мне правду про себя.

Не знаю. Я не смог пройти через это. Через эту хуеву роль.

— Да нет, — говорит Дэнни. — В смысле, ты уже читал дневник своей мамы?

Нет, не смог. Я чуток встрял на этой мутной теме с убийством ребёнка.

Дэнни внимательно смотрит мне в глаза и спрашивает:

— Ты на самом деле что, типа, киборг? Про это был твой большой мамин секрет?

— Что-что? — переспрашиваю.

— Ну, такое, — объясняет он. — Искусственный гуманоид, созданный с ограниченным запасом жизни, но со встроенными фальшивыми детскими воспоминаниями, поэтому тебе кажется что ты реально настоящий человек, но на самом деле ты скоро умрёшь.

А я пристально смотрю на Дэнни и спрашиваю:

— Так что же, братан, мама сказала тебе, что я какой-то робот?

— У неё про это написано в дневнике? — интересуется Дэнни.

Подходят две женщины, протягивают фотоаппарат, и одна спрашивает:

— Вы не против?

— Скажите «чиз», — командую, и щёлкаю их улыбающимися на фоне коровника; потом они удаляются, унося очередное мимолётное видение, которое почти ускользнуло. Ещё один окаменелый миг в сокровищницу.

— Нет, я не читал её дневник, — говорю. — Я не трахал Пэйж Маршалл. Ни хрена не могу делать, пока не решу насчёт того самого.

— Ладно, ладно, — отзывается Дэнни, потом высказывает предположение. — Тогда значит на самом деле ты просто мозг, который

лежит где-то в кастрюле, а его стимулируют химикатами и электричеством, чтобы ты думал, будто живёшь реальной жизнью.

— Нет, — отвечаю. — Я стопудово не мозг. Это не то.

— Ладно, — говорит он. — Понимаю, о чём ты, братан. Я даже сдачу в автобусе прикинуть не могу.

Дэнни сужает глаза и запрокидывает голову, смотрит на меня, подняв бровь.

— Вот моя последняя догадка, — объявляет.

Говорит:

— Так вот, мне видится так: ты просто объект одного эксперимента, и весь мир, который ты знаешь, на самом деле просто искусственная конструкция, населённая актёрами, которые играют роли всех людей в твоей жизни, а погода — просто спецэффекты, а небо покрашено в голубой, а ландшафт везде — просто декорации. Годится?

А я отзываюсь:

— Чего?

— А я на самом деле потрясающе талантливый и одарённый актёр, — продолжает Дэнни. — И просто прикидываюсь твоим глупым невезучим лучшим дружком-онанистом.

Кто-то щёлкает на плёнку меня, ковыряющегося в зубах.

А я смотрю на Дэнни и говорю:

— Братан, да не прикидываешься ты нифига.

У моего локтя на меня скалится какой-то турист.

— Виктор, эй, — говорит он. — Так вот ты где работаешь.

Откуда он меня знает — хрен разберёшь.

Медфакультет. Колледж. Другая работа. Или, может статься, он просто очередной сексуальный маньяк из моей группы. Прикольно. Он не похож на сексоголика, но никто никогда не похож.

— Эй, Мод, — зовёт он, толкая локтем свою спутницу. — Вот парень, про которого я тебе вечно рассказываю. Я спас этому парню жизнь.

А женщина говорит:

— О Боже ты мой. Так это правда? — втягивает голову в плечи и выкатывает глаза. — Наш Реджи вечно вами хвастается. А я вроде бы всегда думала, что он гиперболизирует.

— Ах да, — отвечаю. — Наш старина Редж, да-да, он спас мне жизнь.

А Дэнни подхватывает:

— Опять же — а кто нет?

Реджи интересуется:

— У тебя нынче всё нормально? Я старался выслать столько денег,

сколько мог. Хватило, чтобы разобраться с тем зубом мудрости, который тебе надо было выдернуть?

А Дэнни отзывается:

— Ох, вы уж мне поверьте.

Слепой цыплёнок с половиной головы и без крыльев, весь измазанный дерьмом, тычется мне в башмак, а когда я тянусь его погладить, оно всё дрожит под перьями, производит тихое кудахтанье и воркование, почти мурлычет.

Приятно видеть что-то более жалкое, чем то, каким я себя чувствую в этот момент.

Потом ловлю себя с ногтем во рту, в коровьем навозе. В цыплячем дерьме.

См. также: Гистоплазмоз. См. также: Ленточные черви.

И продолжаю:

— Ах да, деньги, — говорю. — Спасибо, братан. — И сплёвываю. Потом снова сплёвываю. Щелчок Реджи, который делает мой снимок. Ещё один идиотский миг, который людям охота продлить навечно.

А Дэнни смотрит на газету в своей руке и спрашивает:

— Так что, братан, можно мне прийти пожить в доме твоей мамы? Да или нет?

Глава 20

Записанный к маме на приём на три часа объявлялся, сжимая жёлтое купальное полотенце, а вокруг его пальца была пустая впадинка на том месте, где положено быть обручальному кольцу. В ту секунду, когда дверь закрывали, он пытался всучить ей деньги. Пытался снять штаны. Его фамилия была Джонс, говорил он ей. Имя — Мистер.

Ребята, пришедшие к ней впервые, всегда были одинаковые. Она отвечала им — «заплатите потом». «Не надо так спешить». «Оставьте свою одежду в покое». «Незачем торопиться».

Она говорила, что в регистрационной книге полно мистеров Джонсов, мистеров Смитов, Джонов До и Бобов Уайтов, поэтому лучше бы ему выдумать себе другое прозвище. Она командовала ему лечь на кушетку. Опускала шторы. Гасила свет.

Таким способом ей удавалось заработать кучу денег. Такое не нарушало пунктов её условного заключения, но только потому, что комиссии по таковому не хватало фантазии.

Она говорила мужчине на кушетке:

— Итак, начнём?

Даже если парень утверждал, что придёт не за сексом, мамуля всё равно говорила ему принести полотенце. Платишь наличными. Не просишь её выслать тебе счёт потом, или расплатиться через какую-то страховую компанию, потому что такое ей было совершенно ни к чему.

Получаешь только пятьдесят минут. Парни должны были точно знать, чего хотят.

Это значит — женщину, позы, обстановку, игрушки. Не надо изливать ей никакие капризы в последнюю минуту.

Она приказывала мистеру Джонсу прилечь. Закрывать глаза.

«Позвольте всему напряжению на вашем лице раствориться. Сначала ваш лоб: дайте ему разгладиться. Расслабьте точку между своих глаз. Представьте ваш лоб гладким и расслабленным. Потом мышцы вокруг глаз — гладкими и расслабленными. Потом мышцы вокруг рта. Гладкими и расслабленными».

Даже если парни утверждали, будто желают немного сбросить вес — они хотели секса. Если желали бросить курить. Справиться со стрессом. Перестать грызть ногти. Вылечиться от заикания. Бросить пить. Очистить кожу. Какая бы тема не поднималась, всё оказывалось потому, что они не

трахаются. Чего бы ни заявляли, мол, им хотелось бы — здесь они получали секс, и проблема была решена.

Была ли мамуля сострадательной душой, или же потаскухой — трудно сказать.

Сексом практически всё можно вылечить.

Она была лучшим психиатром в этой области, — или же шлюхой, которая трахается с твоим мозгом. Ей, понятно, не нравилось заниматься такими делами с клиентами, — ну да она ведь никогда и не планировала зарабатывать этим на жизнь.

Сеанс такого типа, сексуального, в первый раз получился случайно. Клиент, которому хотелось бросить курить, желал обратиться к тому дню, когда ему было одиннадцать, и он сделал первую в жизни затяжку. Чтобы вышло припомнить, какой паршивой она была на вкус. Чтобы можно было бросить, возвратившись назад и никогда не начиная. Основная идея была такой.

Во второй сеанс этот клиент захотел встретиться с отцом, который умер от рака лёгких — просто чтобы поговорить. Такое до сих пор очень даже нормально. Люди постоянно мечтают повстречать знаменитых ныне мёртвых людей: ради руководства, ради совета. В его второй сеанс всё было так реалистично, что в третий сеанс клиент захотел встретиться с Клеопатрой.

Каждому клиенту мамуля говорила — "Пускай всё напряжение стечёт с вашего лица в шею, потом из шеи в грудь. Расслабьте плечи. Позвольте им расправиться и вдавиться в кушетку. Представьте, что большой вес давит на ваше тело, погружая ваши руки глубже и глубже в подушки дивана.

Расслабьте свои плечи, локти, кисти. Представьте, как напряжение сбегает струйками в каждый палец, потом расслабьтесь и вообразите, как напряжение сливается через каждый из их кончиков".

Она всего лишь помещала его в транс, в гипнотическую индукцию, и вела дальнейшие события. Он не возвращался назад во времени. Ничего реального здесь не было. Важно было то, что ему хотелось, чтобы произошло всё это.

Наша мамуля просто давала историю раз-за-разом. Описание вздох-за-вздохом. Комментарии в цвете. Вообразите, что слушаете бейсбольный матч по радио. Представьте, насколько реалистичным он может казаться. Теперь вообразите его из серьёзного транса тета-уровня, — из глубокого транса, где вы можете слышать и нюхать. Чувствовать вкус и осязать. Представьте как Клеопатра катается по ковру — обнажённая, совершенная

и олицетворяющая всё, о чём вы мечтали.

Представьте Саломею. Представьте Мэрилин Монро. Если бы вы могли вернуться в любой исторический период и получить любую женщину — женщин, которые сделают всё, что вам вздумается. Потрясающих женщин. Знаменитых женщин.

Театр разума. Бордель подсознания.

Вот так всё начиналось.

Конечно, она занималась именно гипнозом, но на самом деле это было не странствие вглубь реальной жизни. Это было скорее вроде направленной медитации. Она говорила мистеру Джонсу сфокусировать напряжённость на груди и позволить ей рассеяться. Позволить ему стечь в талию, бёдра, ноги. "Представьте, как вода спиралью уходит по стоку. Расслабьте каждую часть вашего тела и позвольте напряжённости стечь в колени, голени, ступни.

Представьте, как дым уходит. Позвольте ему рассеяться. Смотрите, как он исчезает. Пропадает. Растворяется".

В регистрационной книге напротив имени у неё было обозначено — «Мэрилин Монро», как и у большинства парней, пришедших сюда в первый раз. Она могла жить за счёт одной только Мэрилин. Она могла жить за счёт одной только принцессы Дианы.

Она говорила мистеру Джонсу — "Представьте, что вы смотрите в голубое небо, и вообразите самолёт, который рисует букву Z. Теперь позвольте ветру стереть эту букву. Теперь вообразите самолёт, который рисует букву Y. Позвольте ветру стереть её. Потом букву X. Сотрите её. Теперь букву W.

Позвольте ветру стереть её".

На самом деле она только строила декорации. Просто представляла мужчин их идеалу. Она подстраивала для них свидание с их собственным подсознанием, — ведь ничто не окажется настолько хорошим, настолько ты можешь его представить. Никто не прекрасен настолько, насколько оказывается таким у тебя в голове. Ничто так не возбуждает, как собственная фантазия.

Здесь ты получаешь секс, о котором мог только мечтать. Она оформляла декорации и проводила все вступления. Всё оставшееся время сеанса — смотрела на часы, иногда читала книгу или разгадывала кроссворд.

Здесь ты никогда не разочаруешься.

Глубоко погружённый в собственный транс, парень лежал на своём месте, дёргался и выгибался, как собака, которая во сне гоняет кроликов.

Среди всякой порции парней ей попадался любитель покричать, постонать или поохать. Трудно сказать, что приходило в голову людям по соседству. Ребята в приёмной слышали шорох, и это обычно сводило их с ума.

После сеанса парень вымокал от пота, его рубашка была мокрой и липла к нему, штаны были в пятнах. Некоторым приходилось выливать пот из ботинок. Вытряхивать его из волос. Кушетка в её кабинете была с покрытием «Скотчгард», но на самом деле, ей никогда не давали просохнуть. Сейчас она запечатана в прозрачный пластиковый чехол: скорее для того, чтобы удержать внутри годы этой дряни, чем для защиты от внешнего мира.

Поэтому каждый парень должен был принести с собой полотенце: в портфеле, в бумажном пакете, в спортивной сумке с чистой сменой белья. В промежутках между клиентами она разбрызгивала повсюду освежители воздуха. Открывала окна.

Она говорила мистеру Джонсу — "Пускай всё напряжение в вашем теле скапливается в пальцах ног, потом стекает прочь. Всё напряжение. Представьте, что всё ваше тело гладкое. Расслабленное. Рассеянное. Расслабленное. Тяжёлое. Расслабленное. Пустое. Расслабленное.

Дышите животом вместо груди. Вдох — потом выдох.

Вдох — потом выдох.

Делайте вдох.

Потом выдох. Гладко и ровно.

Ваши ноги наливаются усталостью и тяжестью. Ваши руки наливаются усталостью и тяжестью".

Первым делом, как помнилось глупому маленькому мальчику, мамуля занималась очищением домов — не пылесосила или вытирала пыль, а очищала духовно, проводила экзорцизмы. Самое трудное было заставить людей из рекламного справочника пускать её объявление под заглавием «Экзорцист». Идёшь и жжёшь шалфей. Читаешь «Отче наш» и ходишь туда-сюда. Можно ещё побить в глиняный барабан. Объявляешь дом очищенным. Клиенты заплатят и за такое.

Насчёт холодных пятен, дурных запахов, зловещих предчувствий — в основном людям и не нужен экзорцист. Им нужен новый камин, сантехник или декоратор интерьера. Речь о том, что не важно — кому что придёт в голову. Важно то, что они уверены — у них проблема. Большая часть таких подработок достаётся от агентов по недвижимости. В нашем городе существует закон об оглашении данных по недвижимости, и люди готовы объявить о тупейших недостатках: не только про асбест и захоронения топливных цистерн, но и насчёт призраков и полтергейста. Покупатели на

границы сделки, им нужно немного перепроверить дом. Звонит агент, и ты проводишь небольшое представление: жжёшь чуток шалфея — и все в выигрыше.

Они получают что хотят, плюс хорошую историю для пересказа. Жизненный опыт.

Потом появился Фэнг Шу, как помнил малыш, и клиенты уже желали экзорцизм и хотели, чтобы она им сообщила, куда поставить диван. Клиенты спрашивали, где расположить кровать, чтобы не вышло, что она стоит на пути комода, углом перекрывающего ци. Где им развесить зеркала, чтобы те отражали поток ци назад вверх по лестнице, или прочь от раскрытых дверей. Именно такими делами всё обернулось. Вот чем занимаются люди с высшим англоязычным образованием.

Её резюме само по себе было доказательством существования реинкарнации.

С мистером Джонсом она прогоняла алфавит в обратном порядке. Говорила ему — "вы стоите на лугу, поросшем травой, но вот находят облака, спускаясь ниже и ниже, покрывая вас, и окутывают вас густым туманом. Густым, светлым туманом.

Представьте, что стоите в светлом прохладном тумане. Будущее от вас по правую руку. Прошлое — по левую. Туман оседает сырой прохладой на вашем лице.

Поверните налево и начните идти".

«Представьте», — рассказывала она мистеру Джонсу, — "Тень в тумане прямо впереди вас. Продолжайте идти. Почувствуйте, как завеса тумана начинает подниматься. Почувствуйте на ваших плечах яркий и тёплый свет солнца.

Тень становится ближе. С каждым шагом тень проявляется всё больше и больше".

Здесь, внутри своего разума, вы в полном уединении. Здесь нет разницы между тем, что есть и что может произойти. Вам не подхватить никакую болезнь. Или мандавошек. Не нарушить никакой закон. И не заниматься ничем меньшим из того лучшего среди всего, что вы можете себе представить.

Можно делать всё, что можете вообразить.

Она командовала каждому из клиентов — «Вдох. Теперь выдох».

Можно обладать кем угодно. И где угодно.

«Вдох. Теперь выдох».

С Фэнг Шу она перешла на канализирование. Древние боги, просветлённые воины, умершие домашние любимцы — она их всех

подделывала. Канализирование вело к гипнозу и регрессиям в прошлую жизнь. Регрессии людей привели её сюда, к девяти ежедневным клиентам по двести баксов с каждого. К ребятам, торчащим целыми днями в приёмной. К жёнам, которые звонили и орали на маленького мальчика:

— Я знаю, что он здесь. Что бы он там не утверждал — он женат.

К жёнам, которые торчали снаружи по машинам, звонили по автомобильным телефонам и сообщали:

— Не думайте, что я не в курсе, что у вас там происходит. Я следила за ним.

Речь не о том, что мамуля начинала с идеи вызывать мощнейших женщин в истории, чтобы те работали руками, делали минеты, «пятьдесят-на-пятьдесят» и «вокруг света».

Всё накопилось снежным комом. Первый из парней проболтался. Позвонил его друг. Позвонил друг второго парня. Поначалу они просили вылечить что-нибудь приемлемое. Привычку курить или жевать табак. Плеваться на людях. Воровать по магазинам. А потом все хотели только секс. Хотели Клару Боу, Бэтси Росс, Элизабет Тудор и Королеву Шебы.

И каждый день она бегала в библиотеку, чтобы изучить женщин на следующий день: Элеонор Рузвельт, Амелию Ирхарт, Гэрриэт Бичер Стоув.

«Вдох, потом выдох».

Ребята звонили, изъявляя желание отодрать Элен Хэйес, Маргарет Сэнджер и Эйми Сэмпль Мак-Ферсон. Они хотели пялить Эдит Пиаф, Сужурнер Тру и Императрицу Теодору. А маму поначалу очень утомлял тот факт, что всех таких ребят занимали только мёртвые женщины. И то, что они никогда не просили одну и ту же женщину дважды. И то, что сколько подробностей она не вкладывала в сеанс — им хотелось только драть и пялить, пихать и дрючить, долбить, вставлять, трахать, шлёпать, тарить, засаживать, пороть и скакать.

Бывало, иногда даже не хватало эвфемизмов.

Бывает, эвфемизм ближе к истине, чем то, что он скрывает за собой.

И на самом деле всё было вовсе не ради секса.

Эти ребята все как один подразумевали именно то, о чём просили.

Им не нужны были беседы, костюмы или историческая точность. Они хотели Эмили Дикинсон, которая стоит голой на высоких каблуках, — одна нога у неё на полу, а другая закинута на стол, — согнувшись и проводя перьевой ручкой по щели своей задницы.

Они готовы были заплатить двести баксов за то, чтобы попасть в транс и повстречать Мэри Кэссетт в подбитом лифчике.

Не каждый мужчина мог оплатить её сеансы, поэтому ей снова и снова

подворачивалась всё та же разновидность. Они парковали свои минифургоны за шесть кварталов и торопились к дому, прикрываясь в тени зданий — за каждым парнем тащилась его тень. Они вваливались в чёрных очках, потом ждали, отгородившись газетами и журналами, пока их не звали по имени. Или по прозвищу. Если мамуле с глупым маленьким мальчиком доводилось как-нибудь встретить их на публике, эти мужчины прикидывались, что с ней незнакомы. На публике у них были жёны. В супермаркете — у них были дети. В парке — собаки. У них были настоящие имена.

Они расплачивались с ней отсыревшими двадцатками и полтинниками из влажных промокших бумажников, набитых запотевшими фотографиями, библиотечными пропусками, кредитными карточками, членскими билетами клубов, правами, мелочью. Обязательствами. Ответственностью. Действительностью. «Представьте», — говорила она каждому клиенту. — "Свет солнца на вашей коже. Представьте как солнце теплеет и теплеет с каждым вашим выдохом. Солнце тепло и ярко светит на ваше лицо, на вашу грудь, на ваши плечи.

Вдох. Потом выдох.

Вдох. Выдох".

Все её повторные клиенты хотели уже представлений типа «девчонка-на-девчонке», хотели вечеринок с парочкой девушек — Индира Ганди и Кэрол Ломбард. Маргарет Мид, Одри Хэпбёрн и Дороти Дикс. Повторные клиенты не желали даже быть собой из жизни. Лысые просили здоровые, густые волосы. Жирные просили мускулы. Бледные — загар. Начиная с какого-то сеанса каждый из мужчин желал крепкую эрекцию в фут длиной.

Так что это не было настоящими регрессиями в прошлую жизнь. И это не было любовью. Такое не было историей и не было реальностью. Такое не было телевидением, но происходило в твоих мозгах. Это была передача, а она была передатчик.

Это не был секс. Она была просто экскурсоводом в эротический сон. Гипно-стриптизёршей.

Каждый парень оставался в штанах в целях техники безопасности. В целях удержания. Вся дрянь заходила куда дальше финальных следов. И такое предотвращало случайности.

Мистер Джонс получал стандартный курс Мэрилин Монро. Он каменел на кушетке, потел и хватал ртом воздух. Глаза у него закатывались. Рубашка темнела в подмышках. Промежность вздымалась палаткой.

«А вот и она», — говорила мамуля мистеру Джонсу.

«Туман рассеялся, и вокруг сияющий, тёплый день. Ощутите воздух на

своей обнажённой коже, на голых руках и ногах. Ощутите, как вы разогреваетесь с каждым выдохом. Почувствуйте, как становитесь выше и шире. Вы уже крепче и твёрже, багровее и трепетнее, чем вам когда-либо казалось».

Её часы показывали, что до следующего клиента им оставалось около сорока минут.

«Туман рассеялся, мистер Джонс, и тень перед вами — это Мэрилин Монро в тугом атласном платье. Она улыбается в золоте, её глаза полуприкрыты, её голова откинута назад. Она стоит в поле среди цветочков и поднимает руки, а когда вы подступаете ближе — её платье соскальзывает на землю».

Глупому маленькому мальчику мамуля обычно объясняла, что это не секс. То были не столько настоящие женщины, сколько условности. Проекции. Секс-символы.

Сила внушения.

Мистеру Джонсу мамуля говорила:

— Обладайте ею.

Говорила:

— Она вся ваша.

Глава 21

В эту первую ночь Дэнни стоит у входной двери, сжимая что-то, обёрнутое в розовое одеяло. Всё это видно в глазок маминой двери: Дэнни в своей широоченной клетчатой куртке; Дэнни укачивает на груди какого-то ребёночка, нос у него пузырьрём, глаза пузырьрём, — всё пузырьрём из-за линзы глазка. Всё искажено. Его руки, сжимающие свёрток, побелели от напряжения.

А Дэнни орёт:

— Открой, братан!

А я открываю дверь настолько, насколько позволяет цепочка от грабителей. Спрашиваю:

— Что у тебя там?

А Дэнни поправляет одеяло на своём маленьком свёртке и отвечает:

— А на что похоже?

— Похоже на ребёнка, — говорю.

А Дэнни отзывается:

— Хорошо, — обхватывает розовый свёрток покрепче и просит. — Пусты, братан, а то уже тяжело.

Тогда я сдвигаю цепочку. Отхожу в сторону, а Дэнни устремляется внутрь и в угол гостиной, где взваливает ребёнка на обтянутый пластиком диван.

Розовое одеяло спадает, и наружу показывается камень: серый, гранитного оттенка, начищенный и гладкий на вид. Никакого ребёнка, на полном серьёзе, только этот булыжник.

— Спасибо за идею с ребёнком, — говорит Дэнни. — Люди видят молодого парня с ребёнком — и очень мило с тобой обходятся, — продолжает. — А видят парня, который тащит камень — и сразу все в напряге. Особенно если пытаешься затащить его в автобус.

Он прижимает край розового одеяла подбородком и берётся складывать его, держа перед собой, и рассказывает:

— Плюс когда ты с ребёнком — тебе всегда уступят место. А если забудешь деньги — тебя не выкинут, — Дэнни забрасывает одеяло через плечо, интересуется:

— Вот это дом твоей мамы?

Обеденный стол завален сегодняшними именинными открытками и чеками, моими благодарственными письмами, большим журналом, в

котором «кто» и «где». Ещё тут мамин старенький десятиклавишный сумматор, с такой ручкой, как на игровом автомате, которую надо дёргать сбоку. Усевшись, начинаю заполнять сегодняшнюю квитанцию, отзываюсь:

— Ну да, это её дом, до тех пор, пока налоговики не вышвырнут меня через пару месяцев.

Дэнни сообщает:

— Хорошо, что у тебя здесь целый дом, а то мои предки требуют, чтобы со мной убрались все мои камни.

— Братан, — спрашиваю. — Это сколько же их у тебя?

Он добывает по камню за каждый день своего воздержания, объясняет Дэнни. Этим он занимается по ночам, чтобы иметь занятие. Ищет камни. Моет их.

Тащит их домой. Таким вот образом его реабилитация должна заключаться в серьёзных и хороших поступках, вместо того, чтобы просто не делать мелкую дрянь.

— Я тогда не занимаюсь этим, братан. — поясняет Дэнни. — Ты себе не представляешь, как трудно найти в городе хорошие камни. В смысле, не всякие там куски бетона или эти пластмассовые булыжники, в которых народ прячет свои запасные ключи.

Сегодняшний итог по чекам — семьдесят пять баксов. Всё от незнакомцев, проводивших мне приём Хеймлига по всяким-разным ресторанам. Это ни на грамм не похоже на деньги, в которые, как мне кажется, обойдётся трубка для желудка.

Спрашиваю Дэнни:

— И сколько же дней у тебя пока накопилось?

— На сумму в сто двадцать семь камней, — отвечает Дэнни. Останавливается у стола около меня, разглядывает именинные открытки, разглядывает чеки, интересуется:

— А где же знаменитый дневник твоей мамы?

Подбирает именинную открытку.

— Прочитать не выйдет, — говорю.

Дэнни извиняется:

— Прости, братан, — и пристраивает открытку на место.

«Да нет», — говорю ему. Дневник. Он на каком-то иностранном языке. Поэтому прочитать не получится. Наверное, мама рассчитывала, чтобы я не смог тайком подсмотреть в него в детстве, когда писала его так.

— Братан, — сообщаю. — Кажись, там по-итальянски.

А Дэнни отзывается:

— По-итальянски?

— Ну да, — говорю. — Знаешь, вроде «спагетти»?

По-прежнему стоя в своей широкой клетчатой куртке, Дэнни спрашивает:

— Ты уже ел?

Пока нет. Запечатываю конверт с квитанцией.

Дэнни спрашивает:

— Как думаешь, меня завтра изгонят?

Да, нет, наверное. Урсула видела его с газетой.

Квитанция готова назавтра к отправке в банк. Все благодарственные записки и опущенные письма подписаны, марки наклеены, всё готово в почту. Беру куртку с дивана. Около неё вдавливают пружины камень Дэнни.

— Так что там насчёт этих камней, — говорю.

Дэнни открыл парадную дверь и стоит на выходе, пока я тушу кое-где свет. Рассказывает, стоя в проходе:

— Да не знаю. Но камни-то, это же, типа — земля. Эти камни вроде как набор. Это земля, но её нужно как-то собрать в кучу. Типа земельное владение, только оно пока дома.

Говорю:

— Сто пудов.

Мы выходим, и я закрываю за нами дверь. Ночное небо усыпано звёздами. Все не в фокусе. Луны нет.

На улице, на тротуаре, Дэнни разглядывает грязь и произносит:

— Я думаю, было такое: когда Бог захотел создать землю из хаоса, он первым делом взял и слепил в кучу много камней.

Пока мы идём, благодаря его новому озабоченному поведению мои глаза уже бегают по пустырям и окрестностям на предмет камней, которые можно подобрать.

Направляясь со мной к автобусной остановке, по-прежнему со сложенным розовым одеялом через плечо, Дэнни сообщает:

— Я беру только никому не нужные камни, — говорит. — Приносить буду только по одному камню за ночь. Потом, думаю — придумаю следующее дело, понял — что последует дальше.

Какая дикая идея. Мы собираемся таскать в дом камни. Коллекционируем землю.

— Помнишь ту девчонку, Дайкири? — спрашивает Дэнни. — Танцовщицу с ракообразной родинкой, — поясняет. — Ты же не спал с ней, а?

Мы ворует недвижимост. Крадём твёрдый грунт.

А я спрашиваю:

— Чего так решил?

Мы прямо парочка преступников-землекрадов.

А Дэнни отвечает:

— На самом деле её зовут Бэт.

При таком образе мышления, у Дэнни, наверное, скоро появятся планы
взяться за постройку собственной планеты.

Глава 22

Доктор Пэйж Маршалл туго натягивает какую-то белую струну между двух рук в перчатках. Стоя над сидящей в кресле сдутой сморщенной старухой, доктор Маршалл командует:

— Миссис Уинтауэр? Откройте рот, пожалуйста, настолько широко, насколько сможете.

Эти латексовые перчатки; та желтизна, которую они придают рукам — один-в-один так же выглядит трупная кожа. У медицинских трупов с занятий по анатомии на первом курсе, со сбритыми на голове и в интимных местах волосами. С коротенькой щетиной волос. Кожа у них словно куриная, — как у дешёвой варёной курицы, желтеющая и покрытая фолликулами. Волосы, перья — всё это просто кератин. Мышцы человеческого бедра выглядят точно как тёмное мясо индейки. После анатомии на первом курсе нельзя уже смотреть на курицу или индейку и при этом не жрать мертвечину.

Старуха откидывает голову назад, демонстрируя свои зубы, выстроившиеся коричневым полукругом. Язык у неё подёрнут белым. Глаза закрыты. Вот так же все эти старухи выглядят на причастии, в католическую мессу, когда ты мальчик с алтаря, который должен следовать за священником, пока тот кладёт облатку на один язык за другим. Церковь говорит, что можно принять гостию в руку, потом накормить себя — но этих старушек оно не касается. В церкви всё смотришь на причастии вдоль перил и всё видишь двести раззявленных ртов: двести бабуль тянут языки навстречу спасению.

Пэйж Маршалл склоняется и всовывает белую струну старухе между зубов. Потом тянет её, и когда струна вылетает изо рта, оттуда выплёскиваются какие-то мягкие серые частицы. Она пропускает струну между следующей парой зубов, и струна возвращается наружу красной.

При кровотечении дёсен см. также: Рак ротовой полости.

См. также: Некротический язвенный гингивит.

Единственный приятный момент в работе мальчиком с алтаря: ты должен держать дискос у подбородка каждого, кто получает причастие. Это золотой подносик с ручкой, которым ловят гостию, если та падает. Ведь, даже если гостия шлёпнется на пол — её всё равно нужно съесть. На этот момент она уже освящена. Она становится христовым телом. Воплощением плоти.

Наблюдаю сзади, как Пэйж Маршалл снова и снова засовывает окровавленную струну старухе в рот. Серые и белые частицы грязи скапливаются спереди на её халате. И маленькие крапинки розового.

Какая-то медсестра заглядывает в дверь, интересуется:

— Всё здесь в порядке? — спрашивает старуху в кресле. — Пэйж не делает вам больно, правда?

Та булькает в ответ.

Сестра спрашивает:

— Это что значило?

Старуха сглатывает и отвечает:

— Доктор Маршалл очень аккуратна. Она куда бережнее обращается моими зубами, чем вы.

— Почти всё, — говорит доктор Маршалл. — Вы такая молодец, миссис Уинтауэр.

А медсестра пожимает плечами и уходит.

Приятный момент в работе мальчиком с алтаря — это стукнуть дискосом кому-нибудь под глотку. Люди стоят на коленях, сцепив руки в молитве, и та лёгкая гримаса, в которой корчится рожа каждого в такой божественный свой миг. Любил я такое дело.

Когда священник будет класть каждому на язык гостию, он скажет:

— Тело Христово.

А человек, преклонивший колени для причастия отзовётся:

— Аминь.

Лучше всего — стукнуть ему под глотку так, чтобы слово «аминь» вышло как детское «агу». Или чтобы он издал утиное «кря-кря». Или куриное «ко-ко». Только делать это надо как бы нечаянно. И нельзя смеяться.

— Готово, — объявляет доктор Маршалл. Она выпрямляется, и, когда идёт выкинуть окровавленную струну в мусор — замечает меня.

— Не хотел мешать, — говорю.

Она поднимает старуху подняться с кресла и просит:

— Миссис Уинтауэр? Вы можете пригласить ко мне миссис Цунимитсу?

Миссис Уинтауэр кивает. Сквозь щёки можно рассмотреть её язык, который тянется туда-сюда во рту, ощупывая зубы, засасывая губы в тугие складки. Прежде, чем выйти в коридор, она смотрит на меня и заявляет:

— Говард, я уже простила тебе твой обман. Можешь больше не приходить.

— Не забудьте прислать миссис Цунимитсу, — напоминает доктор

Маршалл.

А я спрашиваю:

— Ну что?

А Пэйж Маршалл отвечает:

— Ну, мне придётся целый день проводить зубную гигиену. Что тебе нужно?

Нужно узнать, что сказано в мамином дневнике.

— Ах, это, — отзывается она. Со щелчком стаскивает латексовые перчатки и заталкивает их в канистру с надписью «вредные отходы». — Дневник доказывает только одно — что твоя мать помешалась задолго до твоего рождения.

Это как ещё помешалась?

Пэйж Маршалл смотрит на часы на стене. Машет рукой в сторону стула, — того с виду обтянутого виниловой кожей кресла, которое только что покинула миссис Уинтауэр, — и говорит:

— Присядь, — натягивает новую пару перчаток из латекса.

Она что — собралась чистить мне зубы?

— Изо рта лучше пахнуть будет, — отвечает она. Выпутывает новый отрезок нитки для зубов и повторяет:

— Садись, а я расскажу тебе, что в дневнике.

Ну, сажусь я, — а под моим весом из кресла выталкивается облако мерзкой вони.

— Это не я, — говорю. — В смысле, про запах. Я этого не делал.

А Пэйж Маршалл уточняет:

— Перед тем, как ты родился, твоя мать некоторое время провела в Италии, так?

— И что — в этом большой секрет? — спрашиваю.

А Пэйж говорит:

— В чём?

В том, что я итальянец?

— Нет, — отвечает Пэйж. Она склоняется к моему рту. — Но твоя мать — католичка, так?

От струны больно, когда она протягивает её между парой зубов.

— Пожалуйста, скажи, что ты шутишь, — прошу. — Быть не может, что я итальянец да ещё католик! Такого мне просто не вынести.

Говорю ей, что давно всё это знаю.

А Пэйж приказывает:

— Помолчи, — и отклоняется назад.

— Так кто же мой отец? — спрашиваю.

Она склоняется к моему рту, и струна проскальзывает между пары задних зубов. Вкус крови скапливается у основания моего языка. Она внимательно щурится вглубь меня и отвечает:

— Ну, в общем, если веришь в Святую Троицу, то ты и есть свой собственный отец.

Я свой собственный отец?

Пэйж рассказывает:

— То есть, мне кажется, слабоумие твоей матери берёт начало ещё до твоего рождения. Согласно с тем, что написано в её дневнике, она была помешана как минимум с последних лет третьего десятка.

Она выдёргивает струну, и частицы еды забрызгивают ей халат.

Я спрашиваю, что ещё значит — Святая Троица?

— Ну, это самое, — объясняет она. — Отец, Сын, Святой Дух. Три в одном. Трилистник святого Патрика.

Да чёрт её дери, может она мне сказать, коротко и ясно, — спрашиваю, — что говорится обо мне в мамином дневнике?

Она смотрит на окровавленную струну, только что выдернутую из моего рта, и разглядывает мои частицы пищи и крови, забрызгавшие ей халат, и сообщает:

— Такое помешательство среди матерей не редкость, — склоняется со струной и обвивает ей очередной зуб.

Кусочки этой дряни, полупереваренной дряни, о которой я даже понятия не имел, вырываются на свободу и вылетают наружу. Когда она таскает мою голову за нитку для зубов — я прямо лошадь в удилах из Колонии Дансборо.

— Твоя бедная мать, — продолжает Пэйж Маршалл, глядя сквозь кровь, забрызгавшую стёкла её очков. — Настолько помешалась, что искренне считает, будто ты — второе Христово пришествие.

Глава 23

Каждый раз, когда кто-то в новой машине предлагал подбросить их, мамуля отвечала водителю:

— Нет.

Они стояли на обочине, глядя, как новый «кадиллак», «бьюик» или «тойота» исчезают вдаль, а мамуля говорила:

— Запах новой машины — это запах смерти.

То был третий или четвёртый раз, когда она вернулась забрать его.

Запах клея и резины в салоне нового автомобиля — это формальдегид, рассказала она ему, — то же самое, в чём хранят покойников. Он же — в новых домах и новой мебели. Такое называется «дегазация». Можно надыхаться формальдегидом от новой одежды. Когда наглотаешься достаточно — жди желудочные спазмы, рвоту и понос.

См. также: Отказ печени.

См. также: Шоковый синдром.

См. также: Смерть.

Если ищешь просветление, сказала мамуля, то новая машина — не ответ.

Вдоль дороги цвела наперстянка, высокие стебли бело-фиолетовых цветков.

— Дигиталис этот, — заметила мамуля. — Тоже не помогает.

Если поесть цветочков наперстянки — они вызовут тошноту, бред, помутнение зрения.

Над ними грудью в небо вздымалась гора, задевающая облака и укрытая соснами, — а потом, повыше, шапочкой снега. Она была такой большой, что, сколько бы они не шли, оставалась на том же месте.

Мамуля достала из сумки белую трубочку. Сжала плечо глупого маленького мальчика для равновесия и крепко втянула воздух, воткнув трубочку себе в ноздрю. Потом выронила трубочку на гравий обочины и молча стояла, глядя на гору.

Гора казалась такой большой, что им придётся идти мимо неё вечно.

Когда мамуля отпустила его, глупый мальчик подобрал трубочку. Протёр от крови краем рубашки и отдал ей.

— Трихлорэтан, — объявила мамуля, протягивая и показывая ему трубочку. — Все мои тщательные исследования показывают, что это лучшее из существующих лекарство против опасных излишков

человеческих знаний.

Она запихала трубочку обратно в сумку.

— К примеру, вот эта гора, — сказала она. Взяла глупый подбородок малыша между большим и указательным пальцами, заставив его посмотреть вместе с ней. — Эта большая славная гора. На один мимолётный миг, как мне кажется, у меня получилось её рассмотреть.

Притормозила очередная машина, что-то коричневое и с четырьмя дверями, слишком поздней модели, поэтому мамуля прогнала её, помахав рукой.

В коротком проблеске мамуля видела гору, не думая о лесозаготовках, лыжных курортах и лавинах, о поддержке живой природы, геологии тектонических плит, климатических зонах, пристанище под сенью или местоположении инь-ян. Она видела гору, не обрамлённую языком. Не заключённую в клетку ассоциаций. Она видела её, не глядя сквозь призму всех правдивых вещей, которые она знала про горы. Увиденное в том проблеске было даже не «гора». Это не был природный ресурс. У той вещи не было названия.

— Вот и большая цель, — сказала она. — Найти лекарство от знаний. От образования. От жизни внутри собственного разума.

Машины проезжали мимо по шоссе, и мамуля с маленьким мальчиком пошли дальше мимо горы, по-прежнему торчавшей на одном месте.

Ещё со времён библейской истории про Адама и Еву, человечество было немножко слишком умнее того, что пошло бы ему на пользу, рассказала мамуля. Ещё со времён как съели то яблоко. Её цель была отыскать если не лекарство, так хоть способ лечения, который вернул бы людям их невинность.

Формальдегид не помогал. И дигиталис не помогал.

Ни одна природная дурь не срабатывала нормально: ни курение мейза — шелухи мускатного или земляного ореха. Ни семена укропа, листья гортензии или латуковый сок.

По ночам мамуля пробиралась с маленьким мальчиком по задним дворам других людей. Она пила пиво, оставленное людьми для улиток и слизней, обгрызала их дурман, паслен и кошачью мяту. Она притискивалась к припаркованным машинам и вынюхивала их бензобаки. Откручивала крышку в газоне и нюхала масло обогревателя.

— Думаю, раз уж Ева смогла втащить нас в эту кашу — то я смогу нас вытащить, — говорила мамуля. — Бог вообще любит видеть энтузиастов.

Притормаживали другие автомобили: машины с семьями, набитые багажом и домашними собаками, но мамуля взмахом руки прогоняла их

все.

— Кора головного мозга, мозжечок, — рассказывала она. — Вот где твоя проблема.

Если бы ей только удалось опуститься до использования одного лишь мозгового стебля — она была бы исцелена.

Всё стало бы куда выше печали и радости.

Не бывает рыб, страдающих дикими сменами настроения.

Актинии всегда хорошо проводят время.

Гравий хрустел и осыпался у них под ногами. Проезжающие мимо них машины создавали собственные тёплые порывы ветра.

— Моя цель, — сказала мамуля. — Не упростить себе жизнь.

Сказала:

— Моя цель — упростить себя.

Она рассказала маленькому мальчику, что семена ипомеи не помогают. Она пробовала. Эффект не сохраняется. И листья сладкого картофеля не помогают. Как и златоцвет, экстрагированный из хризантем. Как и нюханье пропана. Как и листья ревеня и азалии.

После проведенной на чужом дворе ночи она оставляла надкушенным почти каждое растение, что после обнаружат люди.

Всякие косметические лекарства, рассказывала она, всякие там нормализаторы настроения и антидепрессанты, — избавляют лишь от симптомов большей проблемы.

Любая зависимость, говорила она, это просто способ лечения той же самой беды. Наркотики, обжорство, алкоголь или секс — просто очередной способ найти покой. Сбежать от того, что мы знаем. От нашего образования. От надкушенного яблока.

Язык, заявляла она, это всего лишь наш способ объяснить и развеять великолепие и величие мира. Разобрать. Рассеять. Она сказала, что люди сроду не могли мириться с тем, как на самом деле прекрасен мир. Как его невозможно объяснить и понять.

Впереди них по шоссе был ресторан с припаркованными вокруг грузовиками, большими по размеру, чем сам ресторан. Некоторые из новых машин, которые отвергла мамуля, стояли тут же. Доносился запах самой разной еды, которую жарили в одном и том же горячем масле. Доносился запах моторов грузовиков, которые работали вхолостую.

— Мы больше не живём в реальном мире, — сказала она. — Мы живём в мире условностей.

Мамуля остановилась и сунула руку в сумочку. Взяла мальчика за плечо и стала, глядя на гору снизу вверх.

— Последний раз одним глазком на реальность, — сказала она. — И пойдём завтракать.

Потом сунула в нос белую трубочку и вдохнула.

Глава 24

Если верить Пэйж Маршалл, моя мама прибыла из Италии уже беременная мной. Это было через год после того случая, когда кто-то вломился в церковь в северной части Италии. Всё это написано в мамином дневнике.

Если верить Пэйж Маршалл.

Моя мама сделала ставку на какой-то новый вид родильной обработки. Ей было почти сорок. Замужем она не была, мужа не хотела, но кто-то пообещал ей чудо.

Тот же самый кто-то был известен как кое-кто, укравший картонную коробку из-под кровати священника. В той коробке были последние бранные мощи одного человека. Кого-то знаменитого.

То была его крайняя плоть.

Это была церковная реликвия, что-то вроде наживки, которой заманивали толпы народу в церкви в средние века. Один из немногих ещё сохранившихся знаменитых пенисов. В 1977 году один американский уролог приобрёл дюймовый сушёный пенис Наполеона Бонапарта за сумму около четырёх тысяч долларов. Футовый пенис Распутина, кажется, лежит где-то в Париже, на вельвете в полированном деревянном ящичке. Двадцатидюймовый монстр Джона Диллинджера вроде бы хранится в бутылки с формальдегидом, в Армейском медицинском центре им. Уолтера Рида.

Если верить Пэйж Маршалл, в мамином дневнике написано, что шести женщинам были предложены эмбрионы, созданные из этого генетического материала. Пять из них так и не были доношены до срока.

Шестой это я. А крайняя плоть была — Иисуса Христа.

Вот такой моя мама была ненормальной. Даже двадцать пять лет назад у неё уже ехала крыша.

Пэйж засмеялась и наклонилась с ниткой чистить зубы следующей старухе.

— Надо отдать твоей матери должное за оригинальность, — добавила она.

Если верить католической церкви, то Иисус объединился со своей крайней плотью при воскресении и вознесении. Если верить истории святой Терезы из Авилы, то когда Иисус явился ей и взял её в невесты, крайнюю плоть он использовал, как обручальное кольцо для неё.

Пэйж выдернула струну между зубов женщины, забрызгав кровью и едой линзы собственных очков в чёрной оправе. Чёрный мозг на её голове покачнулся туда-обратно, когда она пыталась рассмотреть верхний ряд старушечьих зубов.

Она сказала:

— Даже если рассказ твоей матери правда, нет доказательств того, что материал был взят от действительной исторической личности. Скорей уж окажется, что твой отец был каким-нибудь нищим еврейским неизвестно кем.

Старуха в кресле, растягивающая рот вокруг рук доктора Маршалл, закатила глаза и вытаращилась на меня.

А Пэйж Маршалл заявила:

— Теперь ты вроде бы должен спокойно согласиться сотрудничать.

Сотрудничать?

— Согласно моему курсу лечения для твоей матери, — пояснила она.

Убить нерождённого ребёнка. Говорю — даже не будь я им, всё равно, мне кажется, Иисус бы не одобрил.

— Конечно, одобрил бы, — возразила Пэйж. Она выдернула струну, брызнув на меня застрявшим в зубах кусочком. — Разве Бог не пожертвовал собственным сыном, чтобы спасти людей? Разве не в этом вся история?

Вот, снова она — тонкая грань между наукой и садизмом. Между преступлением и жертвой. Между убийством собственного сына и тем, что сделал Авраам с Исааком по Библии.

Старуха убрала лицо прочь от доктора Маршалл, вытолкнув языком струну и кусочки окровавленной пищи изо рта. Посмотрела на меня и сказала своим скрипучим голосом:

— Я тебя знаю.

С автоматизмом чихания, я ответил — «Простите». Простите, что трахал её кота. Простите, что проехал по её клумбам. Простите, что сбил истребитель её мужа. Простите, что смыл её хомячка в унитаз. Потом вздохнул, и спрашиваю у неё:

— Я ничего не забыл?

Пэйж попросила:

— Миссис Цунимитсу, откройте пошире рот.

А миссис Цунимитсу отозвалась:

— Я была с семьёй моего сына, мы ужинали, а ты чуть не подавился до смерти, — говорит. — Мой сын спас тебе жизнь.

Продолжает:

— Я им так гордилась. Он до сих пор рассказывает эту историю людям.

Пэйж Маршалл поднимает на меня взгляд.

— По секрету, — сказала миссис Цунимитсу. — Мне кажется, мой сын, Пол, постоянно трусил — до того вечера.

Пэйж присела, переводя взгляд со старухи на меня, туда-обратно.

Миссис Цунимитсу сцепила руки под подбородком, закрыла глаза и улыбнулась. Сказала:

— Моя невестка тогда хотела развода, но когда увидела, как Пол тебя спас — снова влюбилась.

Сказала:

— Я знала, что ты притворяешься. А все другие видели только то, что им хотелось.

Сказала:

— У тебя внутри несметные пространства для любви.

Эта старуха сидела, улыбалась и произнесла:

— Могу отметить, что у тебя самое благородное из сердец.

И, со скоростью чихания, я ответил ей:

— Ты — сраная сморщенная старая шизофреничка.

А Пэйж вздрогнула.

Объясняю всем: мне надоело, что меня дёргают туда-сюда. Ясно? Так что хватит придуриваться. Мне насрать на сердце. Вам, ребята, не вызывать у меня никаких там чувств. Вам меня — не достать.

Я грубый, дурной, подлый ублюдок. Точка.

Эта старая миссис Цунимитсу. Пэйж Маршалл. Урсула. Нико, Таня, Лиза. Моя мама. Иногда бывает, вся моя жизнь кажется только я — против каждой идиотки-бабы во всём проклятом мире.

Хватаю Пэйж Маршалл под локоть и тащу её на выход.

Никто не подловит меня на христоподобных чувствах.

— Слушайте сюда, — говорю. Потом ору. — Если бы я хотел что-то почувствовать, то пошёл бы в чёртово кино!

Старая миссис Цунимитсу отвечает с улыбкой:

— Тебе не отвергнуть доброту своей истинной природы. Она сияет в глаза каждому.

Говорю ей — «заткни пасть». Пэйж Маршалл команду:

— Пошли.

Я докажу ей, что я не Иисус Христос. Истинная природа всех на свете — говно. У людей нет души. Эмоции говно. Любовь говно. И я тащу Пэйж по коридору.

Мы живём и умираем, а всё остальное — бред. Это просто позорное девчачье дерьмо насчёт чувств и трогательности. Просто надуманный субъективный эмоциональный отстой. Нет души. Нет Бога. Есть только решения, болезни и смерть.

А я — мерзкий, грязный, беспомощный сексоголик, и мне не измениться, и не остановиться, и это всё, чем я навсегда останусь.

И я докажу это.

— Куда ты меня тащишь? — спрашивает Пэйж, спотыкаясь; её очки и халат по-прежнему забрызганы едой и кровью.

Я уже сейчас представляю себе всякую фигню, чтобы не кончить раньше времени: вещи вроде вымоченных в бензине и подожжённых зверьков. Представляю коренастого Тарзана и его дрессированную макаку. Сам думаю — вот ещё одна идиотская глава в моей описи по четвёртому шагу.

Чтобы заставить время замереть на месте. Чтобы превратить мгновение в камень. Чтобы траханье затянулось навечно.

Я веду её в часовню, сообщаю Пэйж. Я ребёнок шизофренички. А не ребёнок Бога.

Пускай Бог докажет, что я неправ. Пусть возьмёт да поразит меня молнией.

Я собираюсь взять её на чёртовом алтаре.

Глава 25

На этот раз дело было в злоумышленном создании угрозы, или в небрежном оставлении ребёнка, или же в преступной небрежности. Законов было так много, что удержать их все в голове маленький мальчик не мог.

То было оскорбление третьей степени, или же неподчинение второй степени; пренебрежение первой степени, или же причинение вреда второй степени, — и дошло до того, что глупому малышу уже страшно становилось заниматься чем угодно кроме того, что делали все остальные. Всё новое, необыкновенное или оригинальное наверняка было против закона.

Всё рискованное или волнующее — отправило бы тебя за решётку.

Вот почему все так жаждали пообщаться с мамулей.

В этот раз она провела вне тюрьмы всего пару недель — и уже начало твориться всякое-разное.

Было так много законов, и, стопудово, почти бессчётное количество способов облажаться.

Сначала полиция спросила про купоны.

Кто-то посетил копировальный магазин в центре города и воспользовался компьютером, чтобы разработать и распечатать сотни купонов, которые обещали бесплатное питание на двоих, на сумму в семьдесят пять долларов и без истечения срока действия. Каждый купон был завернут в сопроводительное письмо, в котором вас благодарили за то, что вы такой ценный клиент и сообщали, что приложенный купон — специальное поощрение.

Вам нужно только отправиться на ужин в ресторан «Кlover Inn».

Когда официант принесёт счёт, можно расплатиться купоном. Чаевые туда включены.

Кто-то всё это сделал. Разослал сотни таких купонов.

Все признаки проделок Иды Манчини были налицо.

Мамуля проработала официанткой в «Кlover Inn» первую неделю после возвращения из мест не столь отдалённых, но её уволили за то, что она рассказывала людям вещи, которые им про свою пищу знать не хотелось.

Тогда она исчезла. А несколько дней спустя неопознанная женщина с криками сбежала по центральному проходу театра во время тихой, скучной

части какого-то большого роскошного балета.

Вот почему однажды полиция забрала глупого маленького мальчика из школы и привезла его в центр. Чтобы узнать, не слышал ли он чего от неё. От мамы. Не знал ли он, быть может, где она скрывается?

Почти в то же самое время несколько сотен очень злых клиентов наводнили салон меховой одежды с купонами на скидку в пятьдесят процентов, полученными по почте.

Почти в то же время тысяча очень напуганных людей приехали в районный венерологический диспансер, требуя проверить их, — после того, как получили письмо на административном бланке, предупреждающее, что у какого-то их бывшего сексуального партнёра обнаружили заразную болезнь.

Полицейские детективы потащили малолетнего слизняка в центр города в казённой машине, потом вверх по лестнице в комнату казённого здания, и усадили его рядом с приёмной матерью, спрашивая — «пыталась ли Ида Манчини связаться с тобой?»

«Имеешь представление, откуда она берёт средства?»

«Как думаешь — почему она творит все эти ужасные вещи?»

А маленький мальчик молча ждал.

Помощь должна была прийти уже скоро.

А мама — обычно говорила ему, что ей жаль. Люди столько лет трудились, чтобы сделать мир чем-то надёжным и организованным. Никто не представлял себе, каким скучным он станет в итоге. Когда весь мир будет поделен на собственность, ограничен по скоростям, разбит на районы, обложен налогами и подчинён управлению, когда все будут проверены, зарегистрированы, адресованы и зафиксированы. Каждому совсем не осталось места для приключений, кроме разве что тех, которые можно купить за деньги. На аттракционе. В кино. Опять же, такое всё равно останется всё тем же ложным волнением. Известно ведь, что динозавры не станут есть детишек. По пробным просмотрам отсеиваются всякие случаи даже ложных крупных катастроф. А раз нет возможности настоящей катастрофы, настоящего риска — нам не остаётся шансов настоящего спасения. Настоящего восторга. Настоящего волнения. Радости. Открытий. Изобретений.

Множество законов, охраняющих нашу безопасность — эти же самые законы обрекают нас на скуку.

Без доступа к истинному хаосу нам никогда не найти истинный покой.

Пока ничто не может стать хуже — оно не станет и лучше.

Всё это вещи, которые мама, бывало, ему рассказывала.

Она обычно говорила:

— Единственный предел, который нам остался — мир неосязаемого. Всё остальное слишком крепко повязано.

Поймано в клетку слишком многих законов.

Под неосязаемым она понимала Интернет, фильмы, музыку, рассказы, искусство, сплетни, компьютерные программы — всё, что не на самом деле. Виртуальные реальности. Выдуманные вещи. Культуру.

Ненастоящее превосходит настоящее по власти.

Ведь ничто не окажется настолько совершенным, насколько ты можешь его представить.

Ведь только неосязаемые идеи, понятия, верования, фантазии сохраняются. А камень щербится. Дерево гниёт. Люди, ну что же, они умирают.

А вот такие хрупкие вещи, как мысль, мечта, легенда — могут жить и жить.

Если бы можно было изменить человеческий образ мышления, говорила она. То, кем они видят себя сами. То, как они видят мир. Если сделать такое — можно было бы изменить то, как они живут свои жизни. И это единственная долговечная вещь, которую можно создать.

Кроме того, наступит момент, любила повторять мамуля, с которого твои собственные воспоминания, истории да приключения будут единственным, что тебе останется.

На своём последнем суде, перед этим её последним заключением, мамуля встала рядом с судьёй и произнесла:

— Моя цель — быть механизмом волнения в человеческих жизнях.

Она пристально смотрела прямо в глаза глупого маленького мальчика, и говорила:

— Мой замысел — дарить людям замечательные истории, которые они смогут рассказывать.

Прежде, чем охрана увела её в наручниках назад, она прокричала:

— Моё наказание — превышение меры. Наша бюрократия и законы превратили мир в чистый и надёжный трудовой лагерь!

Прокричала:

— Мы растим поколение рабов!

И для Иды Манчини это значило — обратно в тюрьму.

«Неисправимая» — неподходящее слово, но это первое, что приходит на ум.

А неопознанная женщина, та самая, которая бежала вниз по проходу во время балета, — орала:

— Мы учим наших детей беспомощности!

Сбегая по проходу и через пожарный выход, она вопила:

— Мы в такой структуре и микроконтроле, что это больше не мир — это чёртов морской круиз!

Сидя в ожидании у полицейских детективов, глупый маленький проблемный засранец поинтересовался, не нужно ли ещё привести сюда адвоката-защитника Фреда Гастингса.

А один из детективов тихо выдохнул неприличное слово.

И в этот же миг зазвенела пожарная сигнализация.

А детективы, даже пока звенел сигнал, всё равно спрашивали:

— ИМЕЕШЬ ХОТЬ КАКОЕ-ТО ПРЕДСТАВЛЕНИЕ, КАК СВЯЗАТЬСЯ С ТВОЕЙ МАТЕРЬЮ?

Перекрикивая звон, они спрашивали:

— МОЖЕШЬ ПО КРАЙНЕЙ МЕРЕ СКАЗАТЬ НАМ, КОГО ОНА ВЫБЕРЕТ СЛЕДУЮЩЕЙ ЦЕЛЬЮ?

Перекрывая сигнал тревоги, приёмная мать кричала:

— РАЗВЕ ТЫ НЕ ХОЧЕШЬ ПОМОЧЬ НАМ ПОМОЧЬ ЕЙ?

И звон прекратился.

Девушка сунула голову в дверь и сказала:

— Без паники, ребята. Похоже, очередная учебная тревога.

Пожарная тревога сейчас уже никогда не значит пожар.

А этот тупой малолетний обсос спрашивает:

— Можно выйти в ваш туалет?

Глава 26

Полумесяц наблюдает сверху за нашими отражениями на серебристых боках жестяного бочонка с пивом.

Мы с Дэнни присели на корточках на чьём-то заднем дворе, и Дэнни сбивает улиток со слизнями лёгкими щелчками указательного пальца. Дэнни поднимает полный до краёв бочонок, подносит своё отражение к настоящему лицу ближе и ближе, пока его поддельные губы не соприкасаются с настоящими.

Дэнни отпивает почти половину пива и сообщает:

— Вот так пиво пьют в Европе, братан.

Из ловушек на слизня?

— Нет, братан, — отвечает Дэнни. Вручает мне бочонок и поясняет. — Тёплым и без газа.

Целую собственное отражение и пью, а луна заглядывает мне через плечо.

На тротуаре нас ждёт детская коляска с покосившимися колёсами: внизу они шире, чем вверху. Днище коляски тащится по земле, а в розовое детское одеяло завернут песчаниковый булыжник, большой настолько, что нам с Дэнни его не поднять. Розовая резиновая детская голова пристроена у верхнего края одеяла.

— Насчёт заняться сексом в церкви, — просит Дэнни. — Скажи мне, что ты этого не сделал.

Если бы только не сделал. Я не смог.

Не смог драть, пялить, пихать, пороть, трахать. Все те эвфемизмы, которых не случилось.

Мы с Дэнни — просто два обычных парня, которые в полночь вывели ребёнка на прогулку. Просто парочка милых юных ребят из этого приятного райончика больших особняков, где каждый из них отодвинут вглубь собственного газона. Всё это дома с автономной, климатически контролируемой, элегантной иллюзией безопасности.

А мы с Дэнни так же невинны, как опухоль.

Мы безобидны, как псилоцибиновая поганка.

Здесь такой приятный район — даже пиво, которое оставляют животным, всё сплошь импортировано из Германии да Мексики. Мы перебираемся через ограду в следующий задний двор и высматриваем под кустами наш очередной груз.

Приседая, чтобы глянуть под листьями, я спрашиваю:

— Братан, — говорю. — Ты же не считаешь, что я добросердечный человек, правда?

А Дэнни отвечает:

— Ну уж нет, братан.

После нескольких кварталов, после всех этих задних дворов с пивом, в честности Дэнни можно быть уверенным. Спрашиваю:

— Ты не считаешь, что на самом деле я в глубине чуткое и христоподобное проявление абсолютной любви?

— Хрена с два, братан, — отвечает Дэнни. — Ты мудака.

А я говорю:

— Спасибо. Просто хотел проверить.

А Дэнни медленно встаёт, разгибая только свои ноги, на жестянке в его руках снова отражение ночного неба, и Дэнни объявляет:

— В яблочко, братан.

Насчёт меня в церкви, рассказываю ему, — я больше разочаровался в Боге, чем в себе. Он обязан был поразить меня молнией. То есть, Бог ведь бог. А я просто мудака. Я даже не снял с Пэйж Маршалл шмотки. Она по-прежнему в стетоскопе, тот болтается между её грудей, — я оттолкнул её к алтарю. Даже халат с неё не стащил.

Приложив стетоскоп к собственной груди, она скомандовала:

— Давай быстрее, — сказала. — Хочу, чтобы синхронно с моим сердцем.

Нечестно, что женщинам не приходится представлять себе всякое дерьмо, чтобы не кончить.

А я — просто не смог. Эта идея про Иисуса тут же убивала у меня всякий стояк.

Дэнни вручает мне пиво, и я пью. Дэнни сплёвывает дохлого слизняка и советует:

— Лучше пей через зубы, братан.

Даже в церкви, даже, когда она лежала на алтаре, без одежды, эта Пэйж Маршалл, эта доктор Пэйж Маршалл — мне не хотелось, чтобы она стала просто-напросто очередной дыркой.

Ведь ничто не окажется настолько совершенным, насколько ты можешь его представить.

Ведь ничто не возбуждает настолько, как твоя собственная фантазия.

Вдох. А теперь — выдох.

— Братан, — сообщает Дэнни. — Это будет мой последний номер на сегодня. Давай, берём камень, и пошли домой.

А я прошу — ещё один квартал, ладно? Ещё один рейд по задним дворам. Я пока что и близко не напился, чтобы забыть сегодняшний день.

Здесь такой приятный район. Перепрыгиваю через ограду в следующий задний двор и приземляюсь башней прямо в чей-то розовый куст. Где-то лает собака.

Всё время, пока мы были на алтаре, пока я пытался разогреть поршень, — крест из полированного светлого дерева смотрел на нас. Не было ни человека в муках. Ни тернового венца. Ни кружащих мух и пота. Ни вони. Ни крови и страданий, — не в этой же церкви. Ни кровавого ливня. Ни нашествия саранчи.

Пэйж всё время была со стетоскопом в ушах, молча слушала собственное сердце.

Ангелы на потолке замалёваны. Свет, падающий сквозь витражи, был густым и золотистым, в нём кружилась пыль. Свет падал широкой плотной колонной; тёплый тяжёлый столб его лился на нас.

Внимание, пожалуйста, доктор Фрейд, просим вас ответить по белому телефону добрых услуг.

Мир условностей, а не реальный мир.

Дэнни смотрит на меня, застрявшего и ободранного до крови шипами роз, в драных шмотках лежащего в кустах, и произносит:

— Ладно, я хотел сказать, — говорит. — Как раз это, сто пудов, и будет последний поход.

Аромат роз, запах недержания в Сент-Энтони.

Собака лает и царапается, пытаюсь выбраться из дома через чёрный ход. Свет загорается на кухне, показывая, что кто-то стоит у окна. Потом включается фонарь на заднем крыльце, и скорость, с которой я выдираю жопу из своего куста и вылетаю на улицу — просто поражает.

С противоположной стороны по тротуару приближается парочка, склонившаяся и обвившая друг друга руками. Женщина трётся щекой об отворот пиджака мужчины, а тот целует её в макушку головы.

Дэнни уже толкает коляску, притом с такой скоростью, что передние колёса подсакивают на трещине тротуара, и детская резиновая голова выскальзывает наружу. Стекланные глаза широко распахнуты; розовая голова прыгает по земле мимо счастливой парочки и скатывается в канаву.

Дэнни просит меня:

— Братан, не достанешь мне?

Мои шмотки изодраны и липнут от крови, колючки торчат в моей роже, — рысью пробегаю мимо парочки, выдёргиваю голову из листьев и мусора.

Мужчина взвизгивает и подаётся назад.

А женщина говорит:

— Виктор? Виктор Манчини. О Господи.

Она, наверное, спасла мне жизнь, потому что хрен её знает — кто она такая.

В часовне, когда я сдался, когда мы застёгивали одежду, я сказал Пэйж:

— Забудь про зародышевую ткань. Забудь про обиды на сильных женщин, — спрашиваю. — Знаешь, в чём настоящая причина того, что я тебя не трахнул?

Разбираясь с пуговицами на бриджах, я сказал ей:

— Кажется, по правде мне взамен охота, чтобы ты мне нравилась.

А Пэйж, держа руки за головой, снова туго скручивая из волос свой чёрный мозг, заметила:

— Но, может, секс и близость — не взаимоисключающие вещи.

А я засмеялся. Руками повязывая себе галстук, сказал ей — о да. Да, они как раз такие.

Мы с Дэнни добираемся к семисотому кварталу улицы, как утверждает указатель, Бирч-Стрит. Говорю Дэнни, толкающему коляску:

— Не сюда, братан, — показываю назад и поясняю. — Мамин дом там, сзади.

Дэнни продолжает толкать, днище коляски с рычанием волочится по тротуару. Счастливая парочка — стоят, отвалив челюсти, всё смотрят нам вслед за два квартала позади.

Трусцой бегу рядом с ним, перебрасывая резиновую кукольную голову из руки в руку.

— Братан, — зову. — Поворачивай.

Дэнни отвечает:

— Сначала глянем на восьмисотый квартал.

А там что?

— По идее там ничего, — говорит Дэнни. — Когда-то он принадлежал моему дяде Дону.

Дома заканчиваются, и восьмисотый квартал — просто участок, а дальше, в следующем квартале — снова дома. Вся земля — лишь высокая трава, растущая по краю, и старые яблони со сморщенной и перекрученной во тьме корой. Окружённый охапкой щёток из хлыстов ежевики и щетины из кучи колючек на каждой ветке — центр участка пуст.

На углу стоит плакат — крашенная в белый фанера с нарисованными сверху красными кирпичными домиками: они притиснуты друг к другу, а из окон с вазонами машут люди. Под домами чёрная надпись сообщает:

«Скоро — городские дома Меннингтаун-Кантри». Под плакатом земля усыпана снегом из кусочков отслоившейся белой краски. Вблизи видно, что щит покособился, кирпичные дома потрескались и выцвели до розового.

Дэнни вываливает булыжник из коляски, и тот приземляется в высокую траву около тротуара. Вытряхивает розовое одеяло и вручает мне два угла. Мы складываем его между собой, а Дэнни рассказывает:

— Если и есть что-то противоположное образцу для подражания — так это мой дядя Дон.

Потом Дэнни закидывает сложенное одеяло в коляску и берётся толкать ту домой.

А я зову его вслед:

— Братан. Тебе что — не нужен камень?

А Дэнни продолжает:

— Всякие там матери против вождения в нетрезвом виде, сто пудов, закатали вечеринку, когда выяснили, что старый Дон Меннинг помер.

Ветер поднимает и клонит к земле высокую траву. Здесь не живёт никто, кроме растений, и сквозь тёмный центр квартала можно разглядеть свет фонарей на крыльце других домов. Очертания старых яблонь чёрными загзагами проступают между ними.

— Так что, — спрашиваю. — Это парк?

А Дэнни отвечает:

— Не совсем, — удаляясь всё дальше, сообщает. — Это моё.

Швыряю ему кукольную голову и говорю:

— Серьёзно?

— С тех пор, как пару дней назад позвонили предки, — отзывается он, ловит голову и кидает её в коляску. Мы шествуем в свете фонарей, мимо тёмных домов всех остальных.

Поблёскивают застёжки моих ботинок, руки мои засунуты в карманы, я спрашиваю:

— Братан? — говорю. — Ты же серьёзно не считаешь, что во мне есть хоть что-то от Иисуса Христа, правда?

Прошу:

— Пожалуйста, скажи что нет.

Мы идём.

А Дэнни, толкая пустую коляску, отвечает:

— Смотри сам, братан. Ты почти занимался сексом на столе Господа. Ты же просто выдающийся образец позорного падения.

Мы идём, пиво выветривается, и ночной воздух на удивление прохладен.

И я прошу:

— Пожалуйста, братан. Скажи мне правду.

Во мне ничего хорошего, доброго, заботливого, — вообще ничего из такой парашаи.

Я не более, чем безмозглый, тупорылый, невезучий пижон. Вот с этим я могу жить. Вот это я и есть. Просто дыро-трахающий, щеле-дрючащий, поршне-пялящий сраный беспомощный сексоман, и мне никогда, ни за что нельзя забывать об этом.

Прошу:

— Скажи мне ещё раз, что я бесчувственный мудак.

Глава 27

Сегодняшний вечер должен пройти таким образом: я прячусь в шкафу в спальне, пока девчонка принимает душ. Потом она выйдет оттуда, вся блестящая от пота: воздух дышит паром, туманится от лака для волос и духов, — она выходит, одетая в один только кружевной купальный халат. И тут я выпрыгиваю в каких-нибудь колготках, натянутых на лицо, и в чёрных очках. Швыряю её на кровать. Приставляю ей к горлу нож. Потом насилую.

Вот так всё просто. Позорное падение продолжается.

Главное — не забывай себя спрашивать: «Как бы НЕ поступил Иисус?»

Только вот на кровати её насиловать нельзя, говорит она, — покрывало из светло-розового шёлка и пойдёт пятнами. И не на полу, потому что ковёр поцарапает ей кожу. Мы условились: на полу, но на полотенце. Не на хорошем гостевом полотенце, предупредила она. Сказала, что оставит паршивенькое полотенце на комод, а мне надо расстелить его заранее, чтобы не нарушать атмосферу.

Она оставит окно спальни открытым, прежде чем пойти в душ.

И вот я прячусь в этом шкафу, голый и облипший всеми её вещами в целлофане из химчистки, на моей голове колготки, я в солнечных очках и держу самый тупой нож, который смог найти, — сижу в ожидании. Полотенце расстелено на полу. В колготках так душно, что по моему лицу течёт пот. Волосы, прилипшие к голове, начинают чесаться.

Только не возле окна, сказала она мне. И не возле камина. Сказала изнасиловать её около шкафа, но не слишком близко. Попросила постараться расстелить полотенце на проходе, где ковёр не так сильно заносится.

Эту девушку по имени Гвен я встретил в отделе «Реабилитация» книжного магазина. Трудно сказать, кто кого подцепил, — но она притворялась, будто читает двадцатишаговую книжку по сексуальной зависимости, а на мне были приносящие удачу камуфляжные штаны, и я ходил вокруг неё кругами с экземпляром той же самой книги, и вот открыл ещё один агрессивный способ знакомиться.

Так делают птички. Так делают пчёлки.

Мне нужен этот приток эндорфинов. Чтобы транквилизировал меня. Я жажду пептида фенилэтиламина. Вот такой я и есть. Зависимый. В смысле,

все у себя отметили?

В забегаловке при книжном магазинчике, Гвен просила достать верёвку, только не из нейлона, потому что это слишком больно. А от пеньки у неё будет раздражение. Годится такое, вроде чёрной изоленты, только не для её рта и бумажной, а не резиновой.

— Отдирать резиновую изоленту, — сказала она. — Так же эротично, как восковая эпиляция ног.

Мы сравнили наши расписания — а четверг уже выпадал. В пятницу у меня была постоянная встреча сексоголиков. На эту неделю мне девчонок не положено. Субботу я провожу в Сент-Энтони. Почти каждый воскресный вечер она помогает проводить игру в бинго в своей церкви, поэтому мы условились на понедельник. В понедельник, в девять, — не в восемь, потому что она работает допоздна, и не в десять, потому что на следующий день мне с раннего утра на работу.

И вот, наступил понедельник. Изолента наготове. Полотенце расстелено, — а когда прыгаю на неё с ножом, она спрашивает:

— На тебе что — мои колготки?

Заламываю ей одну руку за спину и прижимаю ледяное лезвие к её глотке.

— Нет, ну вы посмотрите, — возмущается она. — Это уже переходит всякие границы. Я разрешала себя изнасиловать. Я не разрешала портить мои колготки.

Рукой с ножом хватаю за кружевной отворот её халата и пытаюсь стащить тот у неё с плеча.

— Стой, стой, стой, — упирается она, отталкивая мою руку. — Так, дай я сама. Ты же всё порвёшь, — она выкручивается из моих рук.

Спрашиваю — можно мне снять солнечные очки?

— Нет, — отвечает она, выскальзывая из халата. Потом отправляется к распахнутому шкафу и вешает халат на тремпель.

Но я ведь еле вижу.

— Не будь таким эгоистом, — говорит она. Теперь уже голой, берёт мою руку и сжимает её на своём запястье. Потом заворачивает свою руку за спину, повернувшись и прижавшись ко мне своим голым задом. Поршень у меня встаёт выше и выше, и её тёплая гладкая щель задницы влажно меня трёт, — а она объявляет:

— Хочу, чтобы ты был нападающим без лица.

Объясняю ей, что стыдно покупать пару колготок. Парень, который покупает колготки — либо бандит, либо извращенец; и в том и в другом случае кассир вряд ли примет у тебя деньги.

— Боже, да хватит ныть, — говорит она. — Каждый насильник, который у меня был, приносил колготки с собой.

Плюс, сообщаю ей, когда смотришь на вешалку с колготками, там есть какие угодно размеры и цвета. Телесный, серо-угольный, бежевый, коричневый, чёрный, синий, — и не одна пара не приводится как «размер под голову».

Она отдёргивает в сторону лицо и стонет:

— Можно тебе кое-что сказать? Можно тебе сказать только одну вещь?

Говорю — «Чего?»

А она в ответ:

— У тебя изо рта очень воняет.

Тогда, в забегаловке при книжном магазинчике, пока мы ещё составляли сценарий, она заявила:

— Обязательно поддержи заранее нож в холодильнике. Мне нужно, чтобы он был очень и очень холодный.

Я спросил — может нам сойдёт резиновый нож?

А она ответила:

— Нож — это очень важная для моего общего впечатления часть.

Сказала:

— Лучше всего будет, если ты приставишь лезвие к моему горлу прежде, чем оно остынет до комнатной температуры.

Предупредила:

— Но будь осторожен, потому что если ты случайно меня порежешь, — она наклонилась навстречу через столик, выпятив подбородок на меня. — Даже, если поцарапаешь меня — клянусь, я отправлю тебя за решётку прежде, чем успеешь нацепить штаны.

Отхлебнула свой травяной чай, поставила чашечку обратно на блюдце и продолжила:

— Мои ноздри будут очень признательны, если на тебе не будет никакого одеколона, лосьона или дезодоранта с сильным запахом, потому что я очень чувствительна.

У этих голодных баб-сексоголичек такая высокая толерантность. Они просто не могут не дать. Они просто не могут остановиться, чем бы позорным всё не оборачивалось.

Боже, как я люблю взаимную зависимость.

В забегаловке Гвен поднимает на колени сумочку и роется внутри.

— Вот, — объявляет она, разворачивая ксерокопию списка подробностей, которыми она хочет дополнить дело. Вверху списка сказано:

«Изнасилование — дело власти. Это не романтика. Не надо заниматься

со мной любовью. Не надо целовать меня в губы. Не рассчитывай на зажимания после акта. Не проси сходиться в мой туалет».

Этим вечером понедельника, в её спальне, прижимаясь ко мне голой, она просит:

— Ударь меня, — говорит. — Только не слишком сильно и не слишком легко. Ударь с такой силой, чтобы я кончила.

Одной из рук я держу её руку заведенной за спину. Она трётся по мне задницей, и у неё резкое загорелое тельце, не считая лица, сильно бледного и навощённого от избытка увлажнителя. В зеркальной двери шкафа мне видно её спереди, с моей рожей, заглядывающей ей через плечо. Её волосы и пот скапливаются в щели между её спиной и прижавшейся к ней моей грудью. Кожа её пахнет горячим пластиком от солярия. В другой руке у меня нож, поэтому интересуюсь — она хочет, чтобы я ударил её ножом?

— Нет, — возражает она. — Это называется колоть. Бить кого-то ножом называется колоть, — говорит. — Положи нож и давай просто ладонью.

Ну, и я пытаюсь выкинуть нож.

А Гвен останавливает:

— На кровать — нельзя.

Ну и я бросаю нож на комод, и поднимаю руку, готовя шлепок. Со спины это делать очень неудобно.

А она предупреждает:

— Только не по лицу.

Ну, опускаю руку пониже.

А она говорит:

— И не бей по груди, если не собираешься вызвать у меня комки.

См. также: Пузырный мастит.

Предлагает:

— Как насчёт того, что ты возьмёшь и ударишь меня по заднице?

А я спрашиваю — как насчёт того, что она возьмёт и заткнётся, и даст мне насиловать её как я хочу.

А Гвен отвечает:

— Если ты так относишься, то можешь смело вытаскивать свой мелкий член и проваливать домой.

Поскольку она только что вышла из ванной, шерсть у неё мягкая и пушистая, а не приглажена так, как когда первый раз стаскиваешь с женщины нижнее бельё. Моя свободная рука пробирается у неё между ног, а она наощупь ненастоящая: резиновая и пластиковая. Слишком гладкая. Немного скользкая.

Спрашиваю:

— Что с твоим влагалищем?

Гвен смотрит на себя вниз и отзывается:

— Что? — говорит. — Ах, это. «Фемидом», женский презерватив. Это так торчат края. Я же не хочу, чтобы ты меня чем-нибудь заразил.

Моё личное мнение, говорю, но мне казалось, что изнасилование — штука более спонтанная, ну, вроде — преступление страсти.

— Это показывает, что ты ни хрена не знаешь, как надо насиловать, — отвечает она. — Хороший насильник тщательно планирует своё преступление. Он выполняет каждую мелочь, как ритуал. Всё должно выйти почти как религиозная церемония.

То, что здесь происходит, утверждает Гвен — священо.

В забегаловке при книжном магазинчике, она передала мне листок с ксерокопией и спросила:

— Ты согласишься на все эти условия?

Листок заявлял — "Не спрашивай, где я работаю.

Не спрашивай, больно ли мне.

Не кури в моём доме.

Не рассчитывай остаться на ночь".

Листок гласит — «Надёжное слово — ПУДЕЛЬ».

Спрашиваю — что значит «надёжное слово»?

— Если обстановка слишком накалится, или перестанет нравиться кому-то из нас — говоришь «пудель», и дело прекращается.

Спрашиваю — кончать-то хоть можно?

— Если оно для тебя так уж важно, — отвечает она.

Тогда говорю — ладно, где расписаться?

Все эти жалкие бабы-сексоголички. Как они, чёрт их дери, любят хер.

Без одежды она выглядит немного костлявой. Кожа у неё горячая и мокрая наощупь, будто при желании можно выжать мыльную воду. Ноги у неё такие тонкие, что не соприкасаются до самой задницы. Её маленькие плоские груди словно обтягивают грудную клетку. Всё ещё держу её руку завернутой за спину, разглядываю нас в зеркальную дверцу шкафа, — а у неё длинная шея и покатые плечи, в форме винной бутылки.

— Хватит, пожалуйста, — просит она. — Мне больно. Пожалуйста, я отдам тебе деньги.

Спрашиваю — сколько?

— Хватит, пожалуйста, — повторяет она. — Или я закричу.

Тут я бросаю её руку и отступаю.

— Не кричи, — прошу. — Только не кричи.

Гвен вздыхает, потом тянется и толкает меня в грудь.

— Придурок! — орёт она. — Я не говорила «пудель».

Прямо сексуальный эквивалент «Я в домике».

Она снова впутывается в мою хватку. Потом тянет нас к полотенцу и командует:

— Стой, — идёт к комоду и возвращается с розовым пластмассовым вибратором.

— Эй, — говорю. — Не смей пользоваться этим на мне.

Гвен передёргивается и отвечает:

— Конечно нет. Это моё.

А я спрашиваю:

— Ну, а что же я?

А она заявляет:

— Уж прости, в следующий раз приноси свой вибратор.

— Нет, — возражаю. — Что же мой член?

И она говорит:

— А что твой член?

А я спрашиваю:

— Как он вообще сюда впишется?

Усаживаясь на полотенце, Гвен мотает головой и объявляет:

— Ну почему я такое делаю? Почему я вечно цепляю парня, который старается быть милым и обычным? А дальше тебе захочется ещё и жениться на мне, — говорит. — Хоть бы один раз у меня были унижительные отношения. Хоть разок!

Заявляет:

— Можешь мастурбировать, пока будешь меня насиловать. Но только на полотенце и только если меня не забрызгаешь.

Она расправляет полотенце у своей задницы и хлопает рукой по участочку плюшевой ткани рядом.

— Когда придёт время, — объявляет. — Можешь оставить свой оргазм здесь.

Её рука продолжает — шлёп-шлёп-шлёп.

«Уф», — говорю, — «И что теперь?»

Гвен вздыхает и тычет мне в рожу вибратором.

— Используй меня, — требует она. — Опустим меня, идиот тупой! Унизь меня, ты, дряхлая! Растопчи меня!

Вообще говоря, не совсем понятно, где выключатель, поэтому ей приходится показать мне, как оно включается. Потом оно начинает жужжать так сильно, что я его роняю. Потом оно скачет по полу, а мне

приходится ловить чёртову фиговину.

Гвен поднимает колени, и они распахиваются в стороны, как раскрывается при падении книжка, а я становлюсь на корточки с краю полотенца, и направляю жужжащий кончик точно в середину её гладких пластиковых краёв. Другой рукой занимаюсь своим поршнем. Ляжки у неё бритые, постепенно сужаются до ступней с крашенными синим лаком ногтями. Она откинулась назад, закрыв глаза и раздвинув ноги. Вытянула руки и сложила их за головой, так что её груди выпячиваются аккуратными маленькими буферами, и произносит:

— Нет, Дэннис, нет. Я не хочу, Дэннис. Не надо. Нет. Тебе меня нельзя.

А я говорю:

— Меня зовут Виктор.

А она требует заткнуться и дать ей сосредоточиться.

И я пытаюсь развлечь нас обоих, но это сексуальный эквивалент того, чтобы гладить себя по животу и хлопать по голове. Либо я занят ею, либо занят собой. С другой стороны, получается так же, как плохо втроём. Один из нас всё время остаётся в стороне. Плюс вибратор скользкий, и его трудно удержать. Он разогревается и резко воняет дымом, будто внутри что-то горит.

Гвен приоткрывает один глаз только до щёлочки, щурится на то, как я гоняю кулак и требует:

— Я первая!

Душу свой поршень. И дёргаю Гвен. Дёргаю Гвен. Чувствую себя уже не столько насильником, сколько паяльщиком. Края «Фемидома» всё время соскальзывают внутрь, а мне приходится тормозить и вытаскивать их двумя пальцами.

Гвен произносит:

— Дэннис, нет, Дэннис, стой, Дэннис, — голос её поднимается из глубины глотки. Сама же тянет себя за волосы и шипит. «Фемидом» снова проскальзывает внутрь, и я уже оставляю его в покое. Вибратор утаптывает эту штуку глубже и глубже. Она требует играть с её сосками другой рукой.

Отвечаю — другая рука нужна мне самому. Мои орехи туго напрягаются и готовы кончить, и я говорю:

— О, да. Да. О, да.

А Гвен отзывается:

— Не смей, — и облизывает два пальца. Буравит меня взглядом и работает влажными пальцами между своих ног, со мной наперегонки.

А мне достаточно только представить себе Пэйж Маршалл, моё секретное оружие, — и гонка окончена.

За секунду до того, как кончить, когда возникает чувство, будто сжимается дупло, — именно тогда я поворачиваюсь к маленькой полянке на полотенце, куда сказала Гвен. Чувствуя себя глупо и выдрессированными по бумажке, мои белые солдатики начинают вылетать, и как-то нечаянно отклоняются от траектории и летят на её розовое покрывало. На весь её большой мягкий взбитый розовый ландшафт. Дуга за дугой выстреливается горячими судорожными плевками всех размеров, по всему покрывалу и наволочкам, по розовым шёлковым оборкам кровати.

Как бы НЕ поступил Иисус?

Граффити из кончины.

«Вандализм» — неподходящее слово, но это первое, что приходит на ум.

Гвен развалилась на полотенце, пыхтя с закрытыми глазами, вибратор гудит внутри неё. Глаза её закачены под веками, она брызжет между пальцами и шепчет:

— Я тебя сделала...

Шепчет:

— Сукин сын, я тебя сделала...

Напяливаю обратно штаны, хватаю куртку. Плевки из белых солдатиков висят по всей кровати, по шторам, по обоям, а Гвен по-прежнему лежит на месте, тяжело дыша, вибратор косо торчит из неё на полпути наружу. Секундой позже он выскальзывает и шлёпается на пол, как толстая скользкая рыбина. Тогда-то Гвен и открывает глаза. Начинает привставать на локте, ещё не замечая нанесённый ущерб.

Я уже наполовину вылез в окно, когда вспоминаю:

— Да, между прочим... — говорю. — Пудель, — и позади меня впервые слышу её настоящий крик.

Глава 28

Летом 1692-го в Плимуте, штат Массачусетс, мальчик-подросток был обвинён в том, что огулял кобылу, корову, двух коз, пять овец, двух телят и индюка. Это реальная история из книжек. В соответствии с библейскими законами Левита, после раскаяния мальчик был вынужден смотреть, как каждое животное забивают. Затем он был убит, а его тело свалено в кучу с мёртвыми животными и зарыто в яму без креста.

Это случилось до появления встреч терапевтического общения для сексоголиков.

Тому подростку, пиши он свой четвёртый шаг, пришлось бы, пожалуй, расписать целый коровник.

Спрашиваю:

— Вопросы есть?

Четвероклассники молча смотрят на меня. Девочка во втором ряду спрашивает:

— А как это — огулял?

Говорю — спросите учителя.

Каждые полчаса мне приходится обучать очередное сборище четвероклассников какому-нибудь дерьму, которое никто учить не хочет: например, как разводить огонь. Как смастерить куклу с головой из яблока. Как делать чернила из чёрных орешков. Как будто такое поможет кому-то из них поступить в нормальный колледж.

Помимо уродования бедных цыпят эти четвероклассники приваливают сюда затем, чтобы притащить какой-нибудь микроб. Нет никакой тайны в том, почему Дэнни постоянно пускает сопли и кашляет. Головные вши, глисты, хламидия, стригущий лишай — на полном серьёзе, все эти экскурсионные детишки — крошечные всадники апокалипсиса.

Вместо полезного первопроходческого отстоя, рассказываю им, что их уличная игра в «колечко вокруг розочки» основана на эпидемии бубонной чумы в 1665-м. Чёрная Смерть оставляла на людях твёрдые набухшие чёрные пятна, которые те звали «чумными розами», — или бубонами, — окружёнными бледным кольцом. Отсюда слово «бубонный». Заражённых запирали в собственных домах и оставляли умирать. Спустя шесть месяцев, сотни тысяч людей были похоронены в огромных общих могилах.

А «кармашек, полный цветочков» — то самое, что лондонцы носили с собой, чтобы не чують запаха трупов.

Чтобы сложить костёр, берёшь и сваливаешь в кучу немного палок и сухой травы. Высекаешь искру из кремня. Работаешь мехами. Можешь не воображать ни секунды, будто весь процесс разведения огня заставит их глаза засверкать. Искра никого не впечатляет. Ребятишки горбятся в первом ряду, сгрудившись над своими маленькими видеоиграми. Детишки зевают прямо тебе в лицо. Все хихикают и щипают друг друга, выкатывая глаза на меня в бриджах и грязной рубаше.

Взамен я сообщаю им, что в 1672-м Чёрная Чума поразила Неаполь, что в Италии, похоронив примерно четыреста тысяч человек.

В 1711-м, в Священной Римской империи, Чёрная Чума убила пятьсот тысяч человек. В 1781-м миллионы умерли по всему миру от гриппа. В 1792-м ещё одна эпидемия похоронила восемьсот тысяч человек в Египте. В 1793-м москиты занесли жёлтую лихорадку в Филадельфию, где она убила тысячи.

Один ребёнок шепчет позади:

— Это хуже, чем рулетка.

Другие ребятишки распаковывают завтраки и заглядывают в бутерброды.

За окном в колодках раком стоит Дэнни. В этот раз — просто по привычке. Городской совет объявил, что он будет изгнан сразу же после завтрака. А колодки — именно то место, где он чувствует себя в наибольшей безопасности от себя самого. Ничего не заперто и даже не прикрыто — но он стоит, согнувшись и пристроив руки и шею на те места, где они пробыли месяцами.

Когда они шли из текстильной, один малыш потыкал палочкой Дэнни в нос, а потом пытался сунуть палку ему в рот. Другие детишки тёрли его лысую голову на счастье.

Разведение огня отнимает только минут пятнадцать, поэтому потом я обязан показывать каждой своре детишек большие горшки для стряпни, мётлы из веток, грелки для кровати и прочий отстой.

Дети всегда кажутся выше в комнатухе с потолком в шесть футов. Ребёнок позади говорит:

— Нам снова дали этот сраный яичный салат.

Здесь, в восемнадцатом веке, я сижу у очага большого открытого камина, снабжённого традиционными сувенирами комнаты пыток: большими железными крюками, кочергами, решётками, железками для клеймения. Полыхает мой большой костёр. Сейчас отличный момент для того, чтобы вынуть железные щипцы из углей и прикинуться, что изучаешь их изрытые ямками, раскалённые добела кончики. Все детишки делают шаг

назад.

А я спрашиваю их — эй, ребяташки, может кто-нибудь из вас рассказать мне, как люди в восемнадцатом веке замучивали голых маленьких мальчиков до смерти?

Такое всегда привлекает их внимание.

Никто не поднимает рук.

Продолжая изучать щипцы, повторяю:

— Кто-нибудь?

Всё равно нет рук.

— Серьёзно, — говорю, начиная щёлкать щипцами, разжимая их и сжимая. — Вашему учителю стоило бы рассказать вам, что в былые времена маленьких мальчиков частенько убивали.

Их учительница ждёт снаружи. Вышло так, что пару часов назад, пока её класс чесал шерсть, мы с этой учительницей перевели немного спермы в коптильне, и она стопудово считала, что это обернётся какой-то романтикой, но секундочку. Меня, пока зарывался лицом в её замечательную упругую попку, вообще поражало, что может прочесть между строк женщина, если ты случайно ляпнешь «Я тебя люблю».

В десяти случаях из десяти парень имеет в виду — «Я такое люблю».

Напяливаешь пижонскую полотняную рубаху, галстук и какие-нибудь бриджи, — и бабы со всего мира хотят посидеть у тебя на роже. Когда вы двое делите концы твоего толстенного здорового поршняры, ты же просто тип с обложки какого-нибудь древнего романтического романа. Рассказываю ей:

— О крошка, вонзай мою плоть во свою. О да, вонзай меня, крошка.

Грязные словечки восемнадцатого века.

Эту их учительницу зовут вроде Аманда, Элисон, или Эми. Что-то на гласную.

Главное — не забывай себя спрашивать: «Как бы не поступил Иисус?»

Теперь, перед её классом, славными чёрными руками запихиваю щипцы обратно в огонь, потом маню детишек парой чёрных пальцев, международный знак языка жестов для «подойдите поближе».

Ребятишки позади подталкивают стоящих спереди. Те, что спереди, смотрят по сторонам, и один малыш зовёт:

— Мисс Лэйси?

Тень в окне говорит о том, что мисс Лэйси наблюдает, но в тот миг, когда смотрю на неё, она уклоняется из поля зрения.

Показываю детишкам — «ближе». Старая рифма насчёт «Джорджи Порджи», рассказываю им, на самом деле про короля Англии Георга IV,

которому вечно было мало.

— Мало чего? — спрашивает какой-то малыш.

А я отвечаю:

— Спросите учителя.

Мисс Лэйси продолжает подглядывать.

Говорю:

— Нравится вам огонь, который у меня здесь? — и киваю на пламя. — Так вот, всем постоянно нужно чистить печные трубы, вот только трубы внутри очень узкие, и проходят всегда поверху, поэтому обычно люди заставляли маленьких мальчиков забираться туда и выскабливать внутренности.

А поскольку там было очень тесно, рассказываю им, то мальчики застревали, если на них хоть что-то было надето.

— Поэтому, совсем как Санта-Клаус, — продолжаю. — Они карабкались вверх по трубе... — говорю, доставая из огня горячую кочергу. — Голыми.

Плюю на красный конец кочерги, и плевков громко шипит в тишине комнаты.

— А знаете, как они умирали? — спрашиваю. — Кто-нибудь?

Никто не поднимает рук.

Спрашиваю:

— Знаете, что такое мошонка?

Никто не отвечает «да» и даже не кивает, поэтому говорю им:

— Спросите мисс Лэйси.

В наше особое утро в коптильной, мисс Лэйси полоскала мой поршень в хорошей порции слюней во рту. Потом мы сосались, крепко потели и проводили жидкостный обмен, и она отклонилась назад, полюбоваться на меня. В тусклом дымном свете повсюду вокруг нас висели всякие большие фуфельные пластмассовые окорока. Она всё мокла, крепко оседлав мою руку и вздыхая между каждой парой слов. Вытирает рот и спрашивает — предохраняюсь ли я.

— Клёво, — говорю ей. — Сейчас же 1734-й, помнишь? Пятьдесят процентов детей умирали при родах.

Она сдувает с лица прядь сырых волос и говорит:

— Я не об этом.

Лижу её посередине груди, вверх по горлу, и потом охватываю ртом её ухо. Продолжая гонять её на промокших пальцах, спрашиваю:

— Ну, какие же есть у тебя злые недуги, о которых мне следует знать?

Она тащит меня сзади в стороны, слюнявит палец во рту и говорит:

— Я верю в самопредохранение.

А я в ответ:

— Ну, клёво.

Говорю:

— Меня за это могут загрести, — и накатываю резинку на поршень.

Она пробирается мокрым пальчиком по моей трещине, шлёпает меня по жопе другой рукой и отзывается:

— А каково мне, представь?

Чтобы не кончить, думаю продохлых крыс, гнилую капусту и выгребные ямы, говорю:

— Я в том смысле, что латекс не изобретут аж до следующего века.

Тыкаю кочергой в сторону четвероклассников и продолжаю:

— Эти маленькие мальчики обычно выбирались из трубы, покрытые чёрной сажей. И сажа въедалась в их руки, и колени, и локти — а ни у кого не было мыла, поэтому они всё время ходили чёрными.

В те времена так у них проходили все жизни. Каждый день кто-то загонял их в трубу, и весь день они проводили, карабкаясь по ней в темноте, а сажа набивалась им в рот и нос; и они никогда не ходили в школу, и у них не было телевизора, или видеоигр, или коробочек сока манго-папайя; у них не было и музыки, и ничего на радиоуправлении, и ботинок, — и каждый день было одно и то же.

— Эти маленькие мальчики, — говорю, проводя кочергой вдоль толпы ребятишек. — Эти маленькие мальчики были совсем как вы. Они были совершенно точь-в-точь как вы.

Мои глаза проходят от одного малыша к другому, на мгновение ловя взгляд каждого.

— И однажды каждый маленький мальчик просыпался с воспалённым пятнышком на интимном месте. И эти воспалённые пятна не заживали. А потом они метастазировали, следуя вверх по семенным пузырькам в желудочный отдел каждого из маленьких мальчиков, и тогда, — говорю. — Было уже поздно.

Вот обрывки и осколки моего медфаковского образования.

И я рассказываю им, что иногда маленького мальчика пытались спасти, отрезая ему мошонку, но всё происходило до появления лекарств и больниц. В восемнадцатом веке опухоли такого типа обычно именовали «сажными бородавками».

— И вот такие сажные бородавки, — рассказываю детишкам. — Были первой изобретённой формой рака.

Потом спрашиваю: кто-нибудь знает, откуда название — «рак»?

Рук нет.

Говорю:

— Не заставляйте меня кого-нибудь вызывать.

Там, в копильне, мисс Лэйси расчёсывала пальцами клочья сырых волос и сказала:

— Ну? — как будто вопрос был совершенно невинный, поинтересовалась. — У тебя есть жизнь вне этих мест?

А я, вытирая подмышки насухо своим напудренным париком, попросил:

— Давай не будем воображать всякое, ладно?

Она скрутила свои колготки так, как делают женщины, чтобы просунуть вовнутрь ноги, и заявила:

— Такой анонимный секс — это признак сексомана.

Я уж лучше представлял бы себя бабником, парнем вроде Джеймса Бонда.

А мисс Лэйси заметила:

— Ну, а может, Джеймс Бонд и был сексоманом.

И тут бы мне сказать ей правду. Что я восхищаюсь зависимыми. В мире, где все ожидают какого-то слепого, случайного бедствия или какой-нибудь внезапной болезни, человек с зависимостью обладает утешительным знанием того, что его наиболее вероятно ждёт впереди. Он взял на себя некий контроль над своей непреклонной судьбой, и его зависимость лишает причину его смерти той полной неожиданности, которая ей присуща.

В каком-то смысле, быть зависимым — очень профилактично.

Хорошая зависимость снимает со смерти дух непредсказуемости. И уже действительно есть такая вещь, как планирование собственного отбытия.

И, на полном серьёзе, как это по-бабски — считать, что любая человеческая жизнь должна продолжаться и продолжаться.

См. также: Доктор Пэйж Маршалл.

См. также: Ида Манчини.

По правде сказать, секс — это уже не секс, если у тебя каждый раз не будет новой партнёрши. Первый раз — это единственное время, когда в деле участвуют и твоё тело, и голова. И даже на втором часу этого первого раза голова твоя может отправиться в странствия. Не получаешь уже полную качественную анестезию, как при хорошем анонимном сексе в первый раз.

Как бы НЕ поступил Иисус?

Но вместо всего этого я просто наврал мисс Лэйси и спросил:

— Как мне с тобой связаться?

Рассказываю четвероклассникам, мол, название «рак» пошло оттуда, что когда рак растёт внутри тебя, когда прорывает кожу, то он похож на большого красного краба. Потом краб ломается, а внутри он весь белый и кровавый.

— Чего бы не пробовали врачи, — рассказываю притихшим маленьким ребятишкам. — Каждый маленький мальчик в итоге оставался грязным, больным, и кричал от ужасной боли. А кто может сказать мне, что было потом?

Никто не поднимает рук.

— Ясное дело, — говорю. — Потом он умирал, конечно.

И кладу кочергу обратно в огонь.

— Ну, — спрашиваю. — Вопросы есть?

Никто не поднимает рук, и тогда я рассказываю им об откровенно фиктивных исследованиях, когда учёные брили мышей и мазали их лошадиной смегмой. Такое должно было доказать, что крайняя плоть провоцирует рак.

Поднимается дюжина рук, и я говорю им:

— Спросите учителя.

Какая чёртова работёнка это была, должно быть, — брить тех бедных мышей. Потом искать табун необрезанных лошадей.

Часы на каминной полке показывают, что наши полчаса почти истекли. Снаружи, за окном, в колодках по-прежнему стоит раком Дэнни. Времени у него осталось — только до часу дня. Приблудная деревенская собака останавливается около него, задирает лапу, и жёлтый дымящийся поток направляется точно в ботинок Дэнни.

— А ещё, — рассказываю. — Джордж Вашингтон держал рабов, и вовсе никогда не срубал вишенку, и вообще на самом деле он был женщиной.

Пока они проталкиваются к двери, говорю им:

— И не доставайте парня в колодках, — ору. — И прекратите трясти чёртовы куриные яйца!

Просто чтобы ещё расшевелить кучу, советую им спросить сыровара, почему у него такие красные и расширенные глаза. Спросить кузнеца про царапинки, бегущие вверх и вниз по внутренней стороне его рук. Кричу вслед мелким заразным чудовищам, мол, всякая родинка или веснушка у них — это рак, который просто ждёт своего часа. Кричу им вслед:

— Солнечный свет — ваш враг! Держитесь подальше от солнечной

стороны улицы!

Глава 29

После того, как в дом въехал Дэнни, я нахожу в холодильнике брусок рябого гранита. Дэнни тащит домой глыбы базальта, руки его пачкаются красным от ржавчины. Заворачивает в розовое одеяло чёрные гранитные булыжники, гладкие вымытые речные камни, плиты искрящегося слюдяного кварца, — и привозит их домой на автобусе.

Всё это детки, которых усыновляет Дэнни. Нагромождается уже целое поколение.

Дэнни прикатывает домой песчаник и известняк, по одной глыбовидной мягкой розовой охапке за раз. Смывает с них шлангом грязь на улице. Дэнни складировать их за диваном в гостиной. Складировать их по углам кухни.

Каждый день, прихожу домой после трудного дня в восемнадцатом веке, а на кухонной стойке возле раковины — камень вулканического происхождения. Или этот маленький серый булыжник в холодильнике, на второй полке снизу.

— Братан, — говорю. — Что делает камень в холодильнике?

Дэнни тут же, в кухне, достаёт из мойки тёплые чистые камни и протирает их полотенцем для посуды, отзывается:

— Потому что это моя полка, ты сам сказал, — говорит. — И там не просто камень, это — гранит.

— Но почему в холодильнике? — спрашиваю.

А Дэнни отвечает:

— Потому что духовка уже забита.

Духовка забита камнями. Морозилка забита. Кухонные полки настолько забиты, что проседают на стене.

По плану был один камень в день, но у Дэнни очень склонная к зависимостям натура. Теперь ему приходится приволочь домой полдюжины камней ежедневно просто для поддержания привычки. Каждый день течёт вода в мойке, а кухонные стойки застелены мамиными хорошими купальными полотенцами, которые привалены камнями, чтобы те могли просохнуть на воздухе. Круглые серые камни. Квадратные чёрные камни. Неровные коричневые и жилистые жёлтые камни. Известковый туф. Каждую новую порцию, которую Дэнни притаскивает домой, он выгружает в мойку, сбрасывая чистые сухие камни с предыдущего дня в подвал.

Первым делом не видно подвальный пол, потому что тот весь покрыт

камнями. Потом куча камней вырастает до первой ступеньки. Потом подвал забит до половины лестницы. Теперь же, открываешь подвальную дверь — а сваленные внутри камни высыпаются в кухню. Подвала больше нет.

— Братан, тут всё наполняется под завязку, — говорю. — Такое чувство, будто мы живём в нижней половинке песочных часов.

Будто у нас каким-то образом истекает время.

Нас хоронит заживо.

Дэнни, в своих грязных шмотках, в расползающемся под мышками камзоле и в галстукке, который висит обрывками, ждёт на каждой автобусной остановке, укачивая на груди очередной розовый свёрток. Подбрасывает каждую охапку, когда мышцы рук у него начинают засыпать. Когда приходит автобус, Дэнни с вымазанными грязью щеками храпит, уткнувшись в гремящий металл внутри автобуса, не выпуская своего ребёнка.

Говорю за завтраком:

— Братан, ты сказал, что у тебя по плану один камень в день.

А Дэнни отвечает:

— Столько и собираю. Только один.

А я говорю:

— Братан, какой же ты наркет, — говорю. — Не ври. Я знаю, что ты собираешь как минимум десять камней за день.

Пристраивая камень в ванную, в медицинский шкафчик, Дэнни отзывается:

— Ну ладно, может, я чуток опережаю график.

В бачке унитаза тоже камни, сообщаю ему.

И добавляю:

— Даже если это просто камни — вовсе не значит, что это уже не злоупотребление.

Дэнни, со своим текущим носом, с бритой головой, с намокшим под дождём детским одеялом, ожидает на каждой остановке, и кашляет. Перекладывает свёрток из руки в руку. Склонивк нему лицо, подтягивает розовый сатиновый край одеяла. С виду — чтобы лучше защитить своего ребёнка, но на самом деле — чтобы скрыть тот факт, что это вулканический туф.

Дождь стекает по затылку его треуголки. Камни прорывают ему карманы.

Внутри своих потных шмоток, таская весь этот вес, Дэнни становится всё худее и худее.

Шляться туда-сюда с чем-то, похожим на ребёнка — просто выжидательная позиция, пока кто-нибудь из района настучит на него за издевательство над ребёнком и преступную небрежность. Людей хлебом не корми — дай объявить кого-то непригодным родителем и сдать малыша в приёмный дом, — хотя секундочку, это уже по моему личному опыту.

Каждую ночь я возвращаюсь после долгого вечера задыханий до смерти — а тут Дэнни с очередным новым камнем. Кварцем, агатом или мрамором. Полевым шпатом, обсидианом или аргиллитом.

Каждую ночь я возвращаюсь после сотворения героев из никого, а в мойке течёт вода. А мне всё ещё приходится усаживаться и подводить дневные расчёты, подбивать итог по чекам, слать сегодняшние благодарственные письма. На моём стуле сидит камень. Мои бумаги и всё остальное, сложенное на обеденном столе, — сплошь завалено камнями.

Первым делом я предупреждал Дэнни — никаких камней в моей комнате. Пусть валит камни куда угодно ещё. Сваливает их по коридорам. Сваливает их по кладовкам. Теперь я уже говорю:

— В постель-то мне камней хоть не клади.

— Но ты же никогда с той стороны не спишь, — возражает Дэнни.

Говорю:

— Речь не о том. Никаких камней в мою постель — вот о чём речь.

Прихожу домой после пары часов групповой терапии с Нико, Лизой или Таней — а в микроволновке камни. И в сушилке для белья камни. В стиральной машине камни.

Иногда уже настаёт три или четыре утра, прежде чем Дэнни объявляется у дома, поливая из шланга новый камень; бывают ночи, когда камень настолько велик, что ему приходится вкатывать его внутрь. Потом он сваливает его на кучу других камней в ванной, в подвале, в комнате моей мамы.

У Дэнни это занятие на всё время — волочь свои камни домой.

В последний день Дэнни на работе, на его изгнании, Его Королевское Колониальное Губернаторство стоял у дверей таможни и зачитывал из маленькой кожаной книжечки. В его руках эта штучка почти пряталась, — но обтянута она была чёрной кожей, с обрамлёнными золотой краской страницами, и несколько ленточек свисало с корешка: чёрная, зелёная и красная.

— Аки дым рассеивается, тако же и ты прогони их; аки же воск топится в пламени, — читал он. — Тако же пускай безбожье сгинет пред лицом Господа.

Дэнни склонился ко мне поближе и заметил:

— Та часть про воск и дым, — сказал Дэнни. — Кажись, это он про меня.

В час дня на городской площади Его Высочество Лорд Чарли, губернатор колонии, читал нам стоя, скривив рожу над своей книжечкой. Холодный ветер тянул по земле дым из каждой печи. Тут были доярки. Тут были башмачники. Здесь был кузнец. Все они, — их шмотки и волосы, дыхание и парики — источали аромат хэша. Аромат плана. Глаза у всех были красные и угашенные.

Послушница Лэндсон и госпожа Плэйн плакали в подол, но только потому, что скорбь входила в их служебные обязанности. Стояла охрана из мужчин с мушкетами, готовая эскортировать Дэнни наружу, в дикие пустоши автостоянки. Трепыхался флаг колонии, приспущенный до полмачты на шпиле крыши таможни. Толпа туристов наблюдала по ту сторону видеокамер. Они жрали попкорн из коробочек, а цыплята-мутанты клевали крошки у их ног. Они обсасывали с пальцев сахарную вату.

— Вместо того, чтобы меня изгонять, — выкрикнул Дэнни. — Может, пускай мне лучше вмажут камнями? — пояснил. — В смысле, камни были бы очень приятным подарком на дорожку.

Все угашенные колонисты подскочили, когда Дэнни сказал «вмажут». Они покосились на губернатора колонии, потом посмотрели на собственные ботинки, и прошло какое-то время, прежде чем с их щёк стекла красная краска.

— Настоящим мы обрекаем тело его земле, да быть ему превращённым во гниение... — губернатор гудел, как заходящий на посадку авиалайнер, растягивая свою маленькую речь.

Охрана эскортировала Дэнни к воротам Колонии Дансборо: два строя мужиков с мушкетами, марширующие с Дэнни посередине. Через ворота, через стоянку, они промаршировали с ним до автобусной остановки, до границы двадцать первого века.

— Ну что, братан, — кричу я с ворот колонии. — Теперь, когда ты труп, что ты будешь делать всё свободное время?

— Есть то, чего я не буду делать, — отзывается Дэнни. — И я совершенно чертовски уверен, что не собираюсь заниматься этим.

Значит, охотиться за камнями вместо онанизма. Держать себя таким занятым, голодным, усталым и несчастным, чтобы не осталось энергии разыскать порнухи и погонять кулак.

В ночь после изгнания Дэнни показывается у маминого дома с камнем в руках и полицейским за спиной. Дэнни вытирает рукавом нос.

Коп спрашивает:

— Извините, пожалуйста, знаете ли вы этого человека?

Потом коп говорит:

— Виктор? Виктор Манчини? Эй, Виктор, как продвигается? В смысле, твоя жизнь, — и поднимает руку вверх, повернув ко мне широкую плоскую ладонь.

Кажется, коп хочет, чтобы я дал ему пять, ну я и даю, только для этого приходится немного подпрыгнуть, потому что он очень высокий. Потом отвечаю:

— Да-да, это Дэнни. Всё нормально. Он здесь живёт.

Обращаясь к Дэнни, коп замечает:

— Видал? Спасая парню жизнь, а он даже меня не помнит.

Ясное дело.

— Я тогда почти задохнулся! — говорю.

А коп восклицает:

— Ты помнишь!

— Ну, — говорю. — Спасибо, что привели старину Дэнни к нам сюда домой в целости и сохранности, — втаскиваю Дэнни внутрь и пытаюсь закрыть дверь.

А коп интересуется:

— У тебя сейчас всё о-кей, Виктор? Может, тебе что-нибудь нужно?

Иду к обеденному столу и пишу на бумажке имя. Вручаю её копу и прошу:

— Можете устроить этому парню в жизни настоящий ад? Ну, там, взять повернуть какие-нибудь рычаги и отправить его на обыск прямокишечной полости?

Имя на бумажке — Его Высочества Лорда Чарли, губернатора колонии.

Как бы НЕ поступил Иисус?

А коп улыбается и отвечает:

— Посмотрим, что можно сделать.

И я захлопываю дверь у него перед носом.

Дэнни уже толкает камень по полу, и спрашивает, не найдётся ли у меня парочки баксов. На дворе снабжения стройматериалами есть кусок тёсаного гранита. Хороший строительный камень, с хорошим коэффициентом упругости, стоит за тонну очень дорого, и Дэнни кажется, что один камень отдельно он мог бы раздобыть за десять баксов.

— Камень всегда камень, — замечает Дэнни. — Но квадратный камень — это сказка.

Гостиная с виду завалена сходом лавины. Сначала уровень камней

поднялся до подножья дивана. Потом с головой были похоронены столики, только абажуры остались торчать из камней. Из гранита и песчаника. Серых, синих, чёрных и коричневых камней. Некоторые комнаты, по которым мы ходим, завалены под потолок.

Ну, а я спрашиваю — что он собрался строить?

А Дэнни в ответ:

— Дай десять баксов, — заявляет Дэнни. — Разрешу помочь.

— Целая куча дебильных камней, — говорю. — Какая у тебя цель?

— Затея не в том, чтобы что-то в итоге сделать, — отвечает Дэнни. —

Затея в том, чтобы делать, понял, в самом процессе.

— Но куда ты собрался деть все эти камни?

А Дэнни говорит:

— Не узнаю, пока не соберу сколько надо.

— А сколько надо? — спрашиваю.

— Не знаю, братан, — отвечает Дэнни. — Просто охота, чтобы дни моей жизни к чему-то складывались.

Точно так же, как любой день твоей жизни, — так же, как он может просто исчезнуть перед телевизором, объясняет Дэнни, ему хочется иметь камень, которым можно отметить любой день. Что-то осязаемое. Только одну вещь. Маленький монумент, чтобы обозначить завершение каждого дня. Каждого дня, который он провёл, не занимаясь онанизмом.

«Надгробный камень» — неподходящее слово, но это первое, что приходит на ум.

— Тогда, возможно, жизнь к чему-то сложится, — говорит он. — К чему-то прочному.

Говорю — надо организовывать двадцатишаговую программу для камнеманов.

А Дэнни отзывается:

— Будто оно поможет, — говорит. — Ты сам-то когда вообще в последний раз думал о своём четвёртом шаге?

Глава 30

Мамуля и наш глупый малолетний говнюк один раз остановились в зоопарке. Этот зоопарк был настолько знаменит, что был окружён целыми акрами автостоянок. Он был в каком-то городе, куда можно проехать на машине, и очередь мам с детишками стояла с деньгами, ожидая, когда их пустят внутрь.

Это случилось после учебной пожарной тревоги в полицейском участке, после того, как детективы отпустили мальчика пойти поискать туалет самому, а снаружи за углом припарковалась мамуля, и она сказала ему:

— Хочешь помочь освободить зверей?

То был четвёртый или пятый раз, когда она вернулась забрать его.

Это была вещь, которую в суде после назовут «Жестокое обращение с городской собственностью по небрежности».

В тот день лицо мамули выглядело как у таких собачек, у которых уголок каждого глаза смотрит вниз, а из-за больших складок кожи глаза кажутся сонными.

— Чёртов сенбернар, — сказала она, направив на себя зеркало заднего обзора.

Она где-то раздобыла белую футболку, которую стала носить, с надписью «Хулиганьё». Та была новая, но на одном рукаве уже появилось немного крови из носу.

Другие мамы и детишки стояли и болтали друг с другом.

Очередь тянулась долго-долго. Полиции вокруг было не видать.

Пока они стояли, мамуля рассказывала, что если тебе захочется стать первым человеком, который взойдёт на борт самолёта, и если хочешь лететь со своим домашним питомцем — то вы можете и вместе, запросто. Авиакомпаниям нужно позволять сумасшедшим держать своих зверей на руках. Так говорит правительство.

То была очередная порция жизненно важной информации.

Стоя в очереди, она дала ему несколько конвертов и наклеек с адресами, чтобы клеить на них. Потом дала ему несколько купонов и писем, чтобы их обернуть и положить вовнутрь.

— Просто звонишь людям из авиакомпании, — сказала она. — И говоришь им, что тебе нужно захватить своё «животное для успокоения».

Так их на самом деле и называют авиалинии. Это может быть собака,

обезьяна, кролик, но ни за что не кот. Правительство не считает, что коты могут кого-то успокаивать.

Авиакомпания не может попросить у тебя доказать, что ты сумасшедший, сказала мамуля. Это получилась бы дискриминация. У слепых же не требуют доказать, что они слепы.

— Когда ты сумасшедший, — сказала она. — Твой внешний вид или твои поступки — вина не твоя.

Купоны гласили: "В счёт одной бесплатной порции в «Кlover Inn».

Она сказала, что сумасшедшие и хромые получают места на авиарейс первым делом, поэтому вы со своей обезьяной окажетесь прямо в начале очереди, — неважно, сколько человек было впереди вас. Свернула рот на одну сторону и крепко втянула воздух ноздрей с той же стороны, потом свернула на другую и снова втянула воздух. Рукой всё время держалась за нос, трогала его и тёрла. Потянула за кончик. Понюхала снизу свои нынешние блестящие ногти. Посмотрела вверх в небо и втянула носом каплю крови. У сумасшедших, сказала она, в руках вся власть.

Дала ему марки, чтобы лизать и клеить на конверты.

Очередь понемногу продвигалась раз за разом, и мамуля попросила, стоя у окошка:

— Дай мне платок, пожалуйста, — передала конверты с марками в окошко и сказала. — Не отправите это для нас по почте?

Внутри зоопарка были звери за решётками, за толстым пластиком, в глубоких котлованах, наполненных водой, и звери в основном лежали на земле, дёргая себя задними лапами.

— Нет, ну ты посмотри, — возмутилась мамуля чересчур громко. — Даёшь дикому зверю милое чистое спокойное место для жизни, даёшь ему много хорошей полезной еды, — сказала. — И вот тебе благодарность.

Другие мамы наклонились и зашептали своим деткам, потом утащили их идти смотреть на других зверушек.

Перед ними гоняли кулаки обезьяны, брызгая струями густой белой дряни. Дрянь стекала по пластмассовым окошкам изнутри. Старая белая дрянь была там же, разлившаяся тонким слоем и засохшая почти до прозрачности.

— Отбираешь у них борьбу за выживание — и вот что получаешь, — сказала мамуля.

Дикобразы кончают так, — рассказывала она, пока они смотрели, — дикобразы скачут на деревянной палке. Точно как ведьма ездит на метле, — дикобразы трутся о палку, пока та не становится вонючей и скользкой от их мочи и сока из желез. Когда та начнёт вонять достаточно сильно — они ни

за что не променяют её на другую.

Продолжая наблюдать, как дикобраз катается на палке, мамуля заметила:

— Какая всё же тонкая метафора.

Маленький мальчик представил, как они выпускают всех зверей на волю. И тигров, и пингвинов — и все они дерутся. Леопарды и носороги кусают друг друга. Малолетнему пидору затея очень понравилась.

— Единственное, что отделяет нас от животных, — сказала мамуля. — У нас есть порнография.

Снова условности, сказала она. И не была уверена, делает это нас лучше животных, или хуже.

Слоны, сказала мамуля, могут пользоваться хоботом.

Макаки могут пользоваться хвостом.

А маленькому мальчику хотелось только глянуть, как выйдет из строя что-то опасное.

— Мастурбация, — сообщила мамуля. — Их единственное средство для побега.

«Пока не придём мы», — подумал мальчик.

Грустные витающие в облаках животные, окосевшие медведи, гориллы и выдры все вздрагивали, их остекленевшие глазки были почти закрыты, и они едва дышали. Усталые лапки у всех напухли. Глаза позаплывали.

Дельфины и киты трутся о гладкие бока своих водоёмов, сказала мамуля.

Олени трут рога в траве до самого, как она сказала, оргазма.

Прямо перед ними японская панда расплескала немного своей гадости по камням. Потом медвежонок развалился на спине и закрыл глаза. Его лужица осталась умирать на солнце.

Мальчик прошептал — это грустно?

— Хуже, — ответила мамуля.

Она рассказала про знаменитого кита-убийцу, который снимался в фильме и потом переехал в новый роскошный аквариум, но продолжал творить непотребство со стенками. Владельцы были очень смущены. Всё дошло до того, что сейчас кита пытаются освободить.

— Мастурбация навстречу свободе, — отметила мамуля. — Мишелю Фуко такое бы понравилось.

Она рассказала, что когда девочка и мальчик у собачек совокупляются, головка пениса мальчика набухает, а вагинальные мышцы девочки сжимаются. Даже после окончания полового акта обе собачки остаются прицепленными друг к другу, беспомощные и несчастные на какое-то

время.

Мамуля сказала, что по тому же сценарию развивается и большинство брачных союзов у людей.

К этому моменту последние оставшиеся матери уже отогнали своих детишек подальше. Когда они двое остались совсем одни, мальчик прошептал — где им найти ключи, чтобы освободить всех зверей?

А мамуля ответила:

— У меня уже с собой.

Перед клеткой с обезьянами мамуля полезла в сумочку и вынула пригоршню пилюлек: маленьких круглых фиолетовых пилюлек. Она швырнула всю пригоршню через прутья, а пилюльки рассыпались и покатились в стороны. Несколько обезьян спустились вниз посмотреть.

На миг испугавшись, уже не шёпотом, маленький мальчик спросил:

— Это яд?

А мамуля засмеялась.

— Вот это мысль, — сказала она. — Нет, милый, мы же не хотим освобождать обезьянок настолько.

Обезьяны уже толпились, поедая пилюльки.

А мамуля сказала:

— Успокойся, сына, — она порылась в сумочке и достала белую трубочку, трихлорэтан.

— Это? — переспросила она, и положила несколько фиолетовых пилюлек себе на язык. — Это просто старая добрая огородная разновидность ЛСД.

Потом затолкала трубочку трихлорэтана себе в ноздрю. А может, и нет. Может быть, всё было совсем не так.

Глава 31

Дэнни уже сидит во тьме в первом ряду, делая наброски на жёлтой планшете, которую держит в объятиях, а три с половиной пустых бутылки пива стоят на столике перед ним. Он не поднимает взгляд на танцовщицу, брюнетку с прямыми чёрными волосами, стоящую на руках и коленях. Она дёргает головой из стороны в сторону, подметая своей причёской сцену, и её волосы кажутся пурпурными в красном свете. Она разглаживает волосы руками, убирая их за спину, и подползает на край сцены.

Музыка — громкое танцевальное техно, замикшированное с сэмплами собачьего лая, сигналов машин, марша гитлерлюгенда. Доносятся звуки бьющегося стекла и выстрелы. В музыке слышны крики женщин и сирены пожарных машин.

— Эй, Пикассо, — зовёт танцовщица, болтая ногой у Дэнни под носом.

Не отрывая взгляд от планшета, Дэнни вынимает один бакс из кармана штанов и просовывает ей между пальцев ноги. На сиденье рядом с ним лежит очередной камень, завёрнутый в розовое одеяло.

На полном серьёзе, мир сбился с пути, когда мы начали танцевать под звуки пожарной тревоги. Пожарные тревоги уже не означают пожаров.

Случись настоящий пожар — посадили бы кого-то с хорошим голосом дать объявление:

— Легковой автомобиль «Бьюик» с номером BRK 773, у вас не погашены фары.

По случаю всамделишного ядерного нападения взяли бы прокричали:

— К телефону у стойки бара просят Остина Леттермана. К телефону просят Остина Леттермана.

В конце света будет не рёв со взрывом, а сдержанное, хорошо оформленное объявление:

— Билл Ривервэйл, для вас звонок на второй линии.

И потом ничто.

Танцовщица выдёргивает рукой деньги Дэнни, зажатые между пальцев. Лежит на животе, упираясь в сцену локтями, прижимая груди одна к другой, и говорит:

— Давай глянем, как получилось.

Дэнни наносит пару быстрых штрихов и разворачивает планшетку к ней.

А она спрашивает:

— Это что — я такая?

— Нет, — отвечает Дэнни и поворачивает планшетку, чтобы изучить её самому. — Это такая колонна композитного ордера, как строили римляне. Смотри, — говорит он, указывая на что-то выпачканным пальцем. — Видишь, как римляне сочетали завитки ионического ордера с коринфским листовидным орнаментом, да при этом сохраняя все пропорции.

Танцовщица — это Шерри Дайкири из нашего прошлого визита, только сейчас её светлые волосы покрашены в чёрный. На внутренней стороне бедра у неё маленькая круглая повязочка.

И вот я уже подошёл к Дэнни, заглядываю ему через плечо, зову:

— Братан.

А Дэнни отзывается:

— Братан.

А я говорю:

— Ты, видать, снова побывал в библиотеке.

Хвалю Шерри:

— Молодец, что позаботилась о своей родинке.

Шерри Дайкири веером закручивает волосы над головой. Выгибается, потом отбрасывает длинную чёрную причёску назад за плечи.

— Ещё я покрасила волосы, — сообщает она. Тянется рукой за спину, выпутывая несколько локонов, и протягивает мне навстречу, протирая их между пальцев.

— Теперь они чёрные, — говорит.

— Я решила, что так будет надёжнее, — рассказывает. — Раз ты сказал, что среди блондинок рак кожи бывает чаще.

А я трясую каждую бутылку, пытаюсь определить, в которой осталось пиво, чтобы выпить, и смотрю на Дэнни.

Дэнни рисует, не слушает, и вообще его здесь нет.

«Коринфские тосканские композитные архитравы антаблемента...» Некоторых людей в библиотеку нужно пускать только по рецепту. Серьёзно, книги по архитектуре для Дэнни порнография. Ясное дело, сначала было несколько камушков. Потом рёберные своды. Я хочу сказать — такова Америка. Начинаешь с рукоблудия — и развиваешься до оргий. Сперва куришь чуток травки, потом приходит папаша-героин. В этом вся наша культура: больше, лучше, сильнее, быстрее. Ключевое слово — «прогресс».

В Америке так: если твоя зависимость не остаётся максимально новой и усовершенствованной — ты позорище.

Глядя на Шерри, хлопаю себя по голове. Потом показываю на неё пальцем. Подмигиваю и говорю:

— Вот умница.

Она отзывается, пытаюсь завернуть ногу за голову:

— Осторожность не помешает, — шерсть у неё по-прежнему сбрита, кожа по-прежнему розовая и в веснушках. Ногти на ногах серебряные. Музыка сменяется на грохот пулемётной очереди, потом на свист падающих бомб, и Шерри объявляет:

— Перерыв, — находит разрез в кулисах, потом исчезает за сцену.

— Только глянь на нас, братан, — говорю. Нахожу бутылку с уцелевшим пивом, а оно тёплое. Продолжаю. — Стоит женщинам всего лишь раздеться — и мы отдаём им все свои деньги. В смысле — почему мы все такие рабы?

Дэнни переворачивает страницу на планшете и берётся за что-то новое.

Снимаю его камень на пол и сажусь.

Мне просто надоело, сообщаю ему. Эти женщины вечно мной заправляют. Сначала мама, потом доктор Маршалл. А в промежутках ты осчастливь ещё Нико, Лизу и Таню. Гвен эта, которая даже не дала мне себя изнасиловать. Вечно они всё только для себя. Они все считают, мол, мужчины не нужны. Бесполезны. Будто мы какой-то сексуальный довесок.

Просто система жизнеобеспечения для эрекции. Или для кошелька.

Отныне, говорю, я не собираюсь уступать ни пяди.

Я объявляю забастовку.

Отныне женщины пускай сами открывают себе двери.

Пускай сами платят по счёту за свои ужины.

Не собираюсь никому двигать тяжёлые диваны — больше никогда.

И открывать заевшие крышки банок тоже.

И никогда в жизни я больше не стану поднимать стульчак в туалете.

Чёрт возьми, отныне я ссу на каждый стульчак.

Двумя пальцами подаю официантке международный знак языка жестов — «два». «Ещё два пива, пожалуйста».

Говорю:

— Вот посмотрим, как женщины попробуют пожить без меня. Возьмём поглядим, как их маленький женский мирок со скрежетом станет на месте.

Тёплое пиво отдаёт ртом Дэнни, его зубами и губной мазью, — вот так мне сейчас нужно выпить.

— И, сто пудов, — говорю. — Если окажусь на тонущем корабле —

полезу в шлюпку первым.

Нам не нужны женщины. В мире полно других вещей, с которыми можно заниматься сексом — возьмите сходите на встречу сексоголиков и запишите себе. Есть печёные арбузы. Есть вибрирующие рукоятки газонокосилок — как раз на уровне промежности. Есть пылесосы и кресла из мягкой резины. Сайты в Интернете. Всякие там старые сексуальные ищайки из чатовых залов, прикидывающиеся шестнадцатилетними девчонками. На полном серьёзе, из бывалых фэбээровцев получают самые сексуальные кибердевочки.

Прошу, покажите мне хоть одну вещь в нашем мире, которая и есть то, чем кажется.

Заявляю Дэнни, вот он я, значит, заявляю ему:

— Женщины не хотят равных прав. У них куда больше власти в роли притесняемых. Им нужно, чтобы мужчины были громадным вражеским сговором. Всё их самоопределение строится на этом.

А Дэнни оглядывается, поворачивая только голову, как сова, глаза у него под бровями сведены в одну точку, и он отвечает:

— Братан, да ты уже идёшь вразнос.

— Нет, я о чём, — возражаю.

Говорю — просто убил бы парня, который изобрёл самотык. Я и правда убил бы.

Музыка сменяется на сирены воздушной тревоги. Потом гордо выходит новая танцовщица, светясь розовым внутри какого-то абсолютно кукольного купальника, её шерсть и груди почти наружу.

Она сбрасывает с одного плеча бретельку. Сосёт свой указательный палец. Падает бретелька с другого плеча, и теперь только её грудь удерживает купальник от падения к ногам.

Мы с Дэнни вдвоём наблюдаем за ней, и купальник падает.

Глава 32

Когда сюда добирается тягач из автоклуба, девушке с конторки приходится идти его встречать, так что я заверяю её, мол, конечно, готов последить за её столом.

На полном серьёзе, когда автобус высадил меня сегодня у Сент-Энтони, я заметил, что у неё спущены две шины. Оба задние колеса стоят прямо на ободу, сказал я ей, заставляя себя всё время поддерживать зрительный контакт.

Экран безопасности демонстрирует столовую, где старухи едят на завтрак растёртую в пюре пищу разных оттенков серого.

Переключатель интеркома установлен на номер первый, — слышна лифтовая музыка и как где-то течёт вода.

Монитор переключается по циклу на комнату для кружков, там пусто. Проходит десять секунд. Потом тут зал, где стоит телевизор с тёмным экраном. Потом, десять секунд спустя, библиотека, где Пэйж толкает мою маму в коляске мимо полки с потрёпанными старыми книгами.

Щёлкая управлением интеркома туда-сюда по шкале, пока не слышу их на шестом номере.

— Если бы только у меня хватало смелости не бороться и не подвергать всё подряд сомнению, — говорит мама. Она тянется и касается корешка книги, продолжая. — Если бы я хоть один раз могла сказать — «Вот. Вот, что хорошо. Просто потому, что я это выбираю».

Она вынимает книгу, разглядывает обложку и заталкивает книгу обратно на полку, мотая головой.

И через динамик, шершавый и приглушённый, мамин голос интересуется:

— Вот вы — как решили стать врачом?

Пэйж пожимает плечами:

— Нужно же на что-то было выменять свою юность...

Монитор переключается по циклу, демонстрируя пустую погрузочную площадку позади Сент-Энтони.

Теперь мамин голос спрашивает на заднем плане:

— Но как пришло решение?

А Пэйж на заднем плане отвечает:

— Не знаю. Однажды взяла и захотела стать врачом... — и её голос гаснет, переходя в какую-то другую комнату.

Монитор переключается по циклу, демонстрируя парадную стоянку, где остановился тягач, а его водитель сидит на корточках возле голубой машины. Девушка с конторки стоит в стороне, сложив руки на груди.

Щёлкаю по шкале с номера на номер и прислушиваюсь.

Монитор переключается, показывая меня, который сидит, приложив ухо к динамику интеркома.

Стук кого-то печатающего на номере пять. На восьмом гудит фен для волос. На втором слышу мамин голос, рассказывающий:

— Знаете поговорку, мол — «Те, кто не помнят прошлое, обречены повторять его»? Так вот, мне кажется, что те, кто помнят своё прошлое — ещё хуже.

Пэйж на заднем плане отвечает:

— Те, кто помнят прошлое, ухитряются по-настоящему перегадить всю историю.

Монитор переключается по циклу, показывая их, идущих по коридору, и открытую книгу в маминых руках. Даже в чёрно-белом цвете можно смело сказать, что это её дневник. И она читает его с улыбкой.

Поднимает взгляд, изворачиваясь, чтобы глянуть на Пэйж за коляской, и говорит:

— По моему мнению, те, кто помнят прошлое, оказываются им парализованы.

А Пэйж толкает её дальше со словами:

— Как насчёт — «Те, кто умеют забыть прошлое, на голову выше всех нас»?

Потом их голоса снова гаснут.

Кто-то храпит на номере три. На десятом — скрипение кресла-качалки.

Монитор переключается по циклу, показывая парадную автостоянку, где девушка подписывает что-то на планшете.

Прежде, чем мне удастся снова разыскать Пэйж, девушка с конторки вернётся и скажет, что с шинами у неё всё в порядке. Она снова посмотрит на меня сбоку.

Как бы НЕ поступил Иисус?

Оказывается, какой-то козёл просто выпустил из них воздух.

Глава 33

Среды означают Нико.

Пятницы означают Таня.

Воскресенья означают Лиза, и я подбираю её на стоянке около общественного центра. За пару дверей от встречи сексоголиков мы переводим немного спермы в подсобке, со шваброй, стоящей рядом с нами в ведре серой воды. Лиза опирается на подвернувшиеся свёртки туалетной бумаги, а я нарезаю её по заднице с такой силой, что с каждым моим подкатом она бодает полку со сложенным тряпьем. Слизываю с её спины пот для никотинового прихода.

Такова жизнь на земле, насколько мне она знакома. Что-то вроде грубого, грязного секса, когда сначала хочется газеты подстелить. Так я пытаюсь вернуть всё в то состояние, в каком оно было до Пэйж Маршалл. Эпоха возрождения. Пытаюсь воссоздать то, какой удавалась моя жизнь всего пару недель тому назад. Когда моя дисфункция так замечательно функционировала.

Спрашиваю затылок Лизы, поросший чохлыми волосами, говорю:

— Ты бы мне сказала, если бы я развёл нежности, правда?

Тяну на себя её бёдра, прошу:

— Скажи честно.

Пялю её в постоянном стабильном темпе, спрашиваю:

— Ты же не считаешь, что я бывал добрым, так?

Чтобы не кончить, представляю себе места крушения самолётов и процесс вступления в дерьмо.

Мой поршень серьёзно горит, я воображаю полицейские снимки автокатастроф и раны от выстрела из дробовика в упор. Чтобы ничего не чувствовать, беру и заталкиваю всё подальше.

Заталкивать подальше член, заталкивать подальше чувства. Когда ты сексоголик — это стопудово одно и то же.

Глубоко погружаясь, тянусь к ней. Крепко засадив, тянусь под неё и кручу в каждой руке твёрдый кончик соска.

А Лиза, потная тёмно-коричневая тень на фоне светло-коричневых свёртков туалетной бумаги, просит:

— Полегче, — говорит. — Ну что ты пытаешься доказать?

Что я бесчувственный урод.

Что на самом деле мне на всё плевать.

Как бы НЕ поступил Иисус?

Эта Лиза, Лиза со своей справкой об освобождении на три часа, хватается за свёртки туалетной бумаги, бьётся в сухом кашле, и руками я чувствую: пресс её каменеет в спазмах и идёт рябью у меня между пальцев. Мышцы её тазового дна, — её лонно-копчиковые мышцы, которые сокращённо зовут ЛК, сжимаются, — а когда они стиснуты и сжаты, их протяжка по моему поршню великолепна.

См. также: Точка Графенберга.

См. также: Точка богини.

См. также: Тайная тантрическая точка.

См. также: Чёрная жемчужина Тао.

Лиза упирается руками в стену и дёргается мне навстречу.

Названия для всё того же участка, всевозможные условные обозначения для настоящего. Федерация женских центров по уходу зовёт его уретральным наростом. Голландский анатом семнадцатого века Рейнье де Грааф называл всё то же скопление пещеристой ткани, нервов и желез — женской простатой. Все эти наименования — для двух дюймов мочеочника, которые можно прощупать сквозь внешнюю стенку влагалища. Сквозь переднюю стенку влагалища. То же, что некоторые зовут — «шейка мочевого пузыря».

Всё это один и тот же участок территории в форме фасолины, который каждому хочется назвать по-своему.

Чтобы установить там собственный флаг. Собственный символ.

Чтобы не кончить, воображаю занятия по анатомии на первом курсе и расчленение двух ножек клитора, сгуга, — каждая длиной где-то с указательный палец. Представляю рассечение corpus cavernosa, двух цилиндров пещеристой ткани пениса. Отрезаем яичники. Убрали яички. Учат отделять все нервы и складывать их сбоку. Трупы воняют формалином, — формальдегидом. Тот самый запах новой машины.

Со всякой фигнёй про трупы в мыслях можно скакать часами, ни к чему не добираясь.

Можно убить целую жизнь, не чувствуя ничего, кроме кожи. Такое вот волшебство этих баб-сексоголичек.

Когда у тебя зависимость, можно остаться без всяких ощущений, кроме опьянения, прихода или голода. Хотя, если сравнить их с остальными чувствами — с грустью, злостью, страхом, нервами, отчаяньем и депрессией, — ну, зависимость уже не кажется такой уж плохой. Она становится очень даже приемлемой альтернативой.

В понедельник остаюсь дома после работы и просматриваю старые

мамины плёнки, оставшиеся от терапевтических сеансов. Здесь — два тысячелетия женщин на одной полке. Здесь голос моей мамы, такой же ровный и спокойный, как когда я был малолетним говнюком.

Бордель подсознания.

Сказочки на ночь.

«Представьте, что большой вес давит на ваше тело, погружая ваши руки глубже и глубже в подушки дивана». Плёнка крутится в наушниках; не забыть лечь спать на полотенце.

Вот имя на одной из кассет с сеансами — Мэри Тодд Линкольн.

Не пойдёт. Больно уродливая.

См. также: Сеанс Уоллис Симпсон.

См. также: Сеанс Марты Рэй.

Вот три сестры Бронт. Не настоящие женщины, а просто условности, просто их имена в роли пустых полочек, на которые можно проецировать, которые можно заполнить старинными стереотипами и клише: молочной белоснежной кожей и турнюром, башмаками на пуговицах и кринолином. Одетые в одни только корсеты китового уса и ленты-кроше, здесь Эмили, Шарлотта и Анна Бронт, развалившиеся в томной наготе на диванх-канаве конского волоса в зале в один душный полдень. Секс-символы. Сам всё дополняешь: опорные моменты и позы, стол с крышкой на роликах, духовой орган. Вводишь себя в роли Хисклиффа или мистера Рочестера. Просто ставишь плёнку и расслабляешься.

Как будто мы способны вообразить прошлое. Прошлое, будущее, жизнь на других планетах — всё ведь полнейшее следствие, полнейшая проекция той жизни, которую мы знаем.

Я закрылся у себя в комнате, Дэнни приходит и уходит.

Словно это просто какая-то нечаянность, ловлю себя с пальцем вдоль колонки Маршаллов в телефонном справочнике. Её в списке нет. Иногда по вечерам после работы сажусь в автобус, проходящий мимо Сент-Энтони. Её никогда нет ни в одном из окон. Проезжая мимо, нельзя угадать, какая из машин на стоянке принадлежит ей. Не выхожу.

Порезал бы ей колёса, или оставил бы любовную записку — не знаю.

Дэнни приходит и уходит, и с каждым днём в доме всё меньше камней. А если не видеть кого-то ежедневно, то заметно, как люди меняются. Я наблюдаю из окна на втором этаже, Дэнни приходит и уходит, толкая в тележке камни всё больше и больше, — и каждый день Дэнни смотрится чуть крупнее под своей старой клетчатой рубашкой. Лицо у него покрывается загаром, его грудь и плечи становятся достаточно широки, чтобы расправить клетчатую ткань так, что она уже не висит складками. Он

не качок, но стал шире, куда крупнее обычного Дэнни.

Наблюдая из окна за Дэнни, я сам словно камень. Я остров.

Зову сверху, мол, помощь ему не нужна?

Стоя на тротуаре, Дэнни оглядывается по сторонам, прижимая в объятьях камень к своей груди.

— Я наверху, — говорю. — Не нужно помочь?

Дэнни взваливает камень на магазинную тележку и пожимает плечами. Трясёт головой и смотрит на меня снизу, держа руку козырьком над глазами.

— Помощь мне не нужна, — отвечает. — Но можешь помочь, если хочешь.

Ладно, забыли.

Мне-то хочется быть нужным.

Мне-то нужно быть необходимым для кого-то. Мне-то нужен кто-нибудь, кто пожрёт всё моё свободное время, мою личность, моё внимание. Кто-нибудь, зависящий от меня. Взаимно-зависимый.

См. также: Пэйж Маршалл.

Тот же случай, когда таблетка может значить и что-то хорошее, и что-то плохое.

Ты не ешь. И не спишь. Питаться Лизой — не значит есть по-настоящему. Когда спишь с Сарой Бернар — не уснуть на самом деле.

Волшебство сексуальной зависимости — тебе никогда не проголодаться, не устать, не заскучать и не загрустить от одиночества.

На обеденном столе сваливаются в кучу всякие новые открытия. Всякие чеки и наилучшие пожелания от незнакомцев, которым охота считать себя чьими-то героями. Которым кажется, что они кому-то нужны. Какая-то женщина пишет, мол, начала цепочку молитв за меня. Духовная пирамидальная схема. Будто против Господа можно выйти братвой. Окружить и позагонять Его.

Тонкая грань между молитвой и наездом.

Вечером во вторник голос на автоответчике спрашивает моего разрешения перевести маму на третий этаж Сент-Энтони, на тот этаж, куда отправляются умирать. Первым делом я слышу, что голос — не доктора Маршалл.

Ору автоответчику, мол, — да само собой. Отправьте свихнувшуюся суку наверх. Устройте её поудобнее, но ни за какие героические меры платить я не стану. За питательные трубки. За аппараты искусственного дыхания. Реакция у меня могла быть и получше, если бы не тихая манера, в которой администраторша ко мне обращается, это придыхание в её голосе.

То, как она подразумевает, мол, я хороший человек.

Прошу её тихий записанный голос не звонить мне больше, пока миссис Манчини не будет мертвее мёртвой.

За исключением выдуривания денег, я скорее позволю человеку себя возненавидеть, чем жалеть.

Выслушивая всё это, я не злюсь. И не грущу. Чувствую теперь только одно — половое возбуждение.

А среды означают Нико.

В женском туалете пухлый кулак её лобковой кости бьёт меня по носу, Никто трётся и мажется вверх-вниз об моё лицо. Все два часа Нико опутывает сплетёнными пальцами мой затылок и тянет в себя мою рожу, пока я не давлюсь интимными волосами.

Ощупывая языком внутренности за её малыми половыми губами, я облизываю складки уха доктора Маршалл. Дыша через нос, тяну язык навстречу спасению.

В четверг первым делом Вирджиния Вульф. Потом Энез Нин. Потом ещё остаётся время на сеанс Сакайявеи, пока наступает утро, и мне нужно идти на работу в 1734-й.

В промежутках записываю своё прошлое в блокнот. В рамках своего четвёртого шага, своей полной и бесстрашной моральной описи.

Пятницы означают Таня.

К пятнице в мамином доме уже не остаётся камней.

В гости приходит Таня — а Таня значит анальный секс.

Волшебство поиметь попку — в том, что она каждый раз тугая, как девочка. А ещё Таня приносит игрушки. Бусы, прутья и зонды, все пахивают отбеливателем, — она протаскивает их туда-обратно в чёрной кожаной сумке, которую держит в багажнике машины. Таня работает рукой и ртом над моим поршнем, проталкивая первый шарик из длинной струны скользких красных резиновых шаров мне через задний люк.

Закрыв глаза, пытаюсь достаточно расслабиться.

Вдох. Потом выдох.

Представь себе обезьяну с каштанами.

Гладко и ровно: вдох — и выдох.

Таня ввинчивает в меня первый шарик, а я спрашиваю:

— Ты сказала бы мне, если бы по моим словам выходило, будто я в чём-то сильно нуждаюсь, правда?

И первый шарик проскальзывает внутрь.

— Почему люди не верят, — продолжаю. — Когда говорю им, что мне вообще на всё плевать?

И второй шарик проскальзывает внутрь.

— Мне ведь на самом деле, и правда насрать на всё, — говорю. Очередной шарик проскальзывает внутрь. — Не собираюсь больше страдать, — говорю. Ещё что-то проскальзывает внутрь меня.

Таня продолжает брать мой поршень по щековине, зажимает в кулаке свисающую струну, потом дёргает.

Представьте, как женщина тянет из вас кишки. См. также: Моя умирающая мать.

См. также: Доктор Пэйж Маршалл.

Таня снова дёргает, и срабатывает мой поршень, обхаркивая белыми солдатиками стену спальни за её головой. Она снова дёргает, и мой поршень кашляет всухую, всё кашляет и кашляет.

Ещё кончая всухую, говорю:

— Чёрт. Серьёзно, это было что-то.

Как бы НЕ поступил Иисус?

Склонившись вперёд, упираясь расставленными руками в стену, чуть подогнув колени, спрашиваю:

— Полегче нельзя? — говорю Тане. — Ты же не косилку заводишь.

А Таня сидит у моих ног на корточках, всё разглядывая скользкие вонючие шарики на полу, говорит:

— Ой блин, — поднимает струну красных резиновых шаров, демонстрируя её мне, и сообщает. — По идее здесь должно быть десять.

Там только восемь, плюс что-то вроде длинного отрезка пустой струны.

У меня дико болит задница; лезу туда пальцами, потом осматриваю их на предмет крови. При том, как мне больно, вообще удивительно, что всё тут не залито кровью.

И я, скрипя зубами, говорю:

— Весело было, правда?

А Таня отвечает:

— Нужно, чтобы ты подписал мою справку об освобождении, чтобы я могла уйти обратно в тюрьму, — опускает струну с шарами в свою чёрную сумку и добавляет. — А тебе, наверное, стоило бы сразу заглянуть в неотложку.

См. также: Закупорка толстой кишки.

См. также: Блокада кишечника.

См. также: Спазмы, жар, септический шок, отказ сердечной мышцы.

Прошло пять дней с тех пор, как я был достаточно голоден, чтобы поесть. Я не устал. И не нервничал, не сердился, не боялся и не хотел пить.

Плохо ли пахнет воздух — сказать не могу. Знаю только, что сегодня пятница, потому что здесь Таня.

Пэйж со своей ниткой для зубов. Таня с игрушечками. Гвен со своим надёжным словом. Вечно эти женщины таскают меня туда-сюда за верёвочку.

— Да нет, серьёзно, — отвечаю Тане. Подписываю справку, под словом «поручитель», и продолжаю. — Серьёзно. Всё нормально. Я не чувствую, будто внутри что-то осталось.

А Таня забирает справку и говорит:

— Поверить не могу.

Ещё прикольнее то, что мне самому тоже как-то не особо верится.

Глава 34

Без страховки или даже водительских прав, я вызываю буксир, чтобы разогнать мамину старую машину. По радио рассказывают, где найти пробки: два столкнувшихся поперёк дороги автомобиля, заглохший тягач-трейлер на шоссе у аэропорта. После того, как наполняю бак, я беру и нахожу происшествие, и становлюсь в очередь. Просто чтобы чувствовать себя частью чего-нибудь.

Когда я бывал в пробке, моё сердце билось с нормальной скоростью. Тут я не одинок. Пока я здесь в ловушке — могу чувствовать себя как нормальный человек, который возвращается домой: к детям, жене, жилью какому-то. Я мог прикинуться, что моя жизнь — больше, чем ожидание очередного бедствия. Что мне известно, как с ней справляться. При том, как остальные детишки объявляли, что они «в домике», сам я мог заявить, мол, я в пути.

После работы иду проведать Дэнни на пустырь, где он свалил все свои камни, — на старый квартал «городских домов Меннингтаун-Кантри», где он садит на раствор одни ряд поверх другого, пока не получается стена; и зову:

— Эй.

А Дэнни отзывается:

— Братан?

Дэнни спрашивает:

— Как там твоя мама?

А я говорю, что мне плевать.

Мастерком Дэнни валит слой серой крупчатой грязи на верхушку последнего ряда булыжников. Заточенным стальным ребром мастерка он парится над слоем раствора, разравнивая его. Рукояткой разглаживает стыки между камнями, которые уже положил.

Под яблоней сидит девчонка, достаточно близко, чтобы разглядеть в ней Шерри Дайкири из стрип-клуба. Под ней расстелено одеяло, а она достаёт белые пакеты с закуской из коричневой кошёлки, открывая каждый из них.

Дэнни берётся пристраивать камни на новый слой раствора.

Спрашиваю:

— Что ты строишь?

Дэнни пожимает плечами. Ввинчивает квадратный коричневый камень

поглубже в раствор. Про помощи мастерка заклепывает раствором щель между двух булыжников. Собирая всё своё поколение детишек во что-то огромное.

Разве не нужно было сначала построить всё на бумаге? Спрашиваю — разве ему не нужен проект? Существуют разрешения и инспекции, которые надо пройти. Нужно платить. Существуют строительные законы, которые надо знать.

А Дэнни отзывается:

— С какой стати?

Он перекачивает камни ногой, потом находит лучший и ставит его на место. Не нужно ведь разрешение рисовать картину, замечает он. Не нужно подавать проект, чтобы написать книгу. А ведь есть книги, которые приносят больше вреда, чем он сам когда-нибудь мог. И твои стихотворения никому не нужно инспектировать. Существует такая вещь, как свобода самовыражения.

Дэнни говорит:

— Не нужен ведь допуск, чтобы завести ребёнка. Так зачем надо покупать разрешение, чтобы строить дом?

А я спрашиваю:

— Но что если ты построишь опасный, уродский дом?

А Дэнни отзывается:

— Ну, а что если ты воспитаешь опасного, хероватого ребёночка?

А я поднимаю между нами кулак и говорю:

— Давай лучше не будем обо мне, братан.

Дэнни оглядывается на сидящую в траве Шерри Дайкири и сообщает:

— Её зовут Бэт.

— Ни минуты не думай, будто город купится на твою логику Первой Поправки, — говорю.

И прибавляю:

— А она вовсе не такая хорошенькая, как ты считаешь.

Дэнни вытирает с лица пот подолом рубашки. Можно заметить, что пресс у него пошёл бронированными волнами, — а он говорит:

— Тебе нужно сходить повидать её.

Я вижу её и отсюда.

— Свою маму, в смысле, — поясняет он.

Она меня больше не знает. Скучать не будет.

— Это не для неё, — возражает Дэнни. — Тебе нужно разобраться с этим для самого себя.

Руки нашего Дэнни прорезают впадинки теней от сокращающихся

мышц. Руки нашего Дэнни теперь растягивают рукава его пропотелой футболки. Его тощие ручонки кажутся широкими в обхвате. Его узенькие плечи — широко расправленными. С каждым новым рядом ему приходится поднимать булыжники чуть выше. С каждым новым рядом ему приходится стать сильнее. Дэнни приглашает:

— Не хочешь остаться, пожрать китайского? — говорит. — Ты чуток отощал вроде.

Спрашиваю — он что, теперь живёт с этой Бэт?

Спрашиваю, залетела она от него, или что?

А Дэнни тащит здоровенный серый камень, держа его двумя руками у пояса, пожимает плечами. Месяц назад это был камень, который мы с трудом поднимали вдвоём.

Если нужно, говорю ему, тут у меня на ходу мамина машина.

— Сходи узнай, как там твоя мама, — отвечает Дэнни. — Потом приходи помогать.

Все в Колонии Дансборо просили передать привет, говорю ему.

А Дэнни отзывается:

— Не ври мне, братан. Я не тот, кому нужны утешения.

Глава 35

Проматываю сообщения на мамином автоответчике — а там всё тот же тихий голос, пришёптывающий и всё понимающий, говорит — «Состояние ухудшается...» Говорит — «Критическое...» Говорит — «Матери...» Говорит — «Внутривенно...»

Продолжаю жать на кнопку перемотки.

На полке ещё отложена на ночь Коллин Мур, кто бы она ни была. Тут Констэнс Ллойд, кто она ни есть. Тут Джуди Гэрленд. Тут Ева Браун. Всё оставшееся — определённо второй сорт.

Голос на автоответчике обрывается и начинает снова.

— ...звонила в некоторые родильные дома, перечисленные в дневнике его матери... — сообщает он.

Это Пэйж Маршалл.

Перематываю.

— Здравствуйте, это доктор Маршалл, — говорит она. — Мне нужно поговорить с Виктором Манчини. Пожалуйста, сообщите мистеру Манчини, что я позвонила в некоторые родильные дома, перечисленные в дневнике его матери, и все они оказались подлинными. Даже врачи настоящие, — говорит. — Необычнее всего то, что все они очень расстраивались, когда я задавала им вопросы про Иду Манчини.

Говорит:

— Похоже, всё оборачивается большим, чем просто фантазия миссис Манчини.

Голос на заднем плане зовёт:

— Пэйж?

Мужской голос.

— Послушайте, — продолжает она. — Пришёл мой муж, поэтому, пожалуйста, пускай Виктор Манчини посетит меня в Центре по уходу Сент-Энтони, как только сможет.

Мужской голос спрашивает:

— Пэйж? В чём дело? Почему ты шеп...

И на линии короткие гудки.

Глава 36

Так что суббота означает визит к моей маме.

В холле Сент-Энтони обращаюсь к девушке за конторкой, сообщаю ей, что я Виктор Манчини, и пришёл проведать свою маму, Иду Манчини.

Говорю:

— Если только, ну, если она не умерла.

Девушка с конторки дарит мне такой взгляд, когда подгибают подбородок и смотрят на человека, которого очень и очень жаль. Возьмите склоните голову настолько, чтобы глазам пришлось смотреть на человека снизу вверх. Таким вот, повинующимся взглядом. Поднимите брови повыше к линии волос. Это взгляд безграничной скорби. Соберите губы в хмурую гримасу, и вы поймёте совершенно точно, каким образом смотрит на меня девушка с конторки.

И она говорит:

— Естественно ваша мать по-прежнему с нами.

А я отвечаю:

— Не поймите меня неправильно, но мне где-то как-то мечталось, чтобы её не было.

Её лицо на секунду забывает, как ей жаль, и губы её подтягиваются, обнажая зубы. Способ заставить большинство женщин прервать зрительный контакт — нужно провести языком по губам. Те, кто не отвернутся, на полном серьёзе — это в яблочко.

Успокойтесь, говорит она мне. Миссис Манчини по-прежнему на первом этаже.

Правильно — мисс Манчини, сообщаю ей. Моя мама не была замужем, если не считать меня, с той дикой эдиповской точки зрения.

Спрашиваю, здесь ли Пэйж Маршалл.

— Конечно здесь, — отвечает девушка с конторки, теперь уже немного отвернув от меня лицо, глядя на меня уголком глаза. Взгляд недоверия.

За бронированными дверями все сумасшедшие старые Ирмы и Лаверны, Виолетты и Оливии берутся за свою медленную миграцию на костылях и инвалидках, приближаясь ко мне. Все хронические раздевалки. Все сданные на свалку бабули и хомячихи с набитыми жеваной жратвой карманами, и те, кто забывают как глотать, с лёгкими, забитыми едой и питьём.

Все они мне улыбаются. Все сияют. У каждого на руке пластиковый

браслет, который держит двери закрытыми, но всё равно все выглядят лучше, чем я себя чувствую.

В зале запах роз, лимонов и хвои. Шумный мирок молит о внимании из телевизора. Разбросанные головоломки-"паззлы". Никто ещё не перевёл мою маму на третий этаж, на этаж смерти, и в её комнате в твидовом кресле сидит Пэйж Маршалл, читая планшетку в очках, и, когда видит меня, замечает:

— Посмотри на себя, — говорит. — Похоже, трубка для питания пригодилась бы не только твоей матери.

Говорю, мол, я получил её сообщение.

Моя мама на месте. Она тут же, в постели. Она просто спит — и всё, живот её — просто вздутый холмик под одеялами. Кости — это единственное, что осталось у неё внутри рук и ног. Голова её тонет в подушке, глаза зажмурены. Желваки её на миг набухают, когда сжимаются зубы, и она собирает в комок всё лицо, чтобы проглотнуть.

Её глаза распахиваются, и она тянет ко мне свои серо-зелёные пальцы, диловатым подводным образом, медленным плавательным гребком, дрожащим, словно от зайчиков света на дне бассейна, когда ты маленький и ночуешь в каком-нибудь мотеле, который подальше от какого-нибудь шоссе. Пластиковый браслет свисает с её запястья, и она зовёт:

— Фред.

Она снова глотает, — всё лицо у неё собирается в пучок от усилия, — и повторяет:

— Фред Гастингс.

Глаза её перекатываются на бок, и она улыбается Пэйж.

— Тэмми, — говорит. — Фред и Тэмми Гастингсы.

Её старый адвокат-поверенный со своей женой.

Все мои записки по Фреду Гастингсу остались дома. «Форд» я вожу, или «Додж» — не припомню. И сколько у меня должно быть детей. И в какой цвет мы наконец покрасили столовую. Не помню ни одной подробности про жизнь, которой я должен жить.

Пэйж по-прежнему сидит в кресле, а я подхожу ближе и кладу руку на её плечо в белом халате, и спрашиваю:

— Как вы себя чувствуете, миссис Манчини?

Её жуткая серо-зелёная рука поднимается повыше и качается туда-сюда, — универсальный знак языка жестов для «так себе». Она улыбается и говорит с закрытыми глазами:

— Надеюсь, что ты окажешься Виктор.

Пэйж стряхивает с плеча мою руку.

А я замечаю:

— Мне казалось, я вам нравился больше.

Говорю:

— Виктор никому особо не нравится.

Моя мать тянет пальцы в сторону Пэйж и спрашивает:

— Ты его любишь?

Пэйж смотрит на меня.

— Да Фреда же, — поясняет мама. — Ты его любишь?

Пэйж берётся быстро выщёлкивать и отщёлкивать свою авторучку. Не глядя на меня, уткнувшись в планшетку в своих объятиях, отвечает:

— Люблю.

А моя мама улыбается. И, вытягивая пальцы в мою сторону, спрашивает:

— А ты её — любишь?

Может быть, как дикобраз свою вонючую палку, если такое можно назвать любовью.

Может быть, как дельфин любит гладкие стены своего бассейна.

И я отвечаю:

— Вроде бы.

Мама боком опускает подбородок на шею, таращится на меня и говорит:

— Фред.

А я отвечаю:

— Ну ладно — да, — говорю. — Я люблю её.

Она возвращает серо-зелёные пальцы обратно, покоиться на её вздувшемся животе, и произносит:

— Вам двоим так везёт, — закрывает глаза и продолжает. — У Виктора не очень получается любить людей.

Говорит:

— Чего я больше всего боюсь — что когда меня не станет, в целом свете не останется никого, кто любил бы Виктора.

Все эти чёртовы старики. Эти человеческие развалины.

Любовь говно. И чувства говно. Я скала. И урод. Я наплевательский мудак — и горжусь этим.

Как бы НЕ поступил Иисус?

Если всё придёт к выбору между тем, чтобы оказаться нелюбимым, и тем, чтобы стать ранимым, чувствительным и чувственным — тогда можете оставить вашу любовь себе.

Считается ли то, что я сказал насчёт любви к Пэйж враньём или

признанием — не знаю. Но это была уловка. Просто чтобы свалить в кучу ещё больше всякого девчачьего говна. У людей нет души, и я абсолютно совершенно на полном серьёзе не собираюсь, блядь, плакать.

А глаза моей мамы по-прежнему закрыты, а грудь её наполняется и опустошается длинными, глубокими циклами.

Вдох. Выдох. Представьте, что большой вес давит на ваше тело, погружая вашу голову и руки глубже и глубже.

И она уже спит.

Пэйж встаёт с кресла и кивает головой в сторону двери, и я следую за ней в коридор.

Она осматривается и предлагает:

— Не хочешь пройтись в часовню?

Да как-то не в настроении.

— Поговорить, — поясняет.

Говорю — «ладно». Иду с ней, добавляю:

— Спасибо за поддержку. В смысле, что соврала.

А Пэйж отзывается:

— Кто сказал, что я врала?

Тогда что, получается, она меня любит? Это невозможно.

— Ну, — говорит она. — Может, приврала чуточку. Ты мне нравишься.

Местами.

Вдох. Потом выдох.

В часовне Пэйж прикрывает за нами дверь и предлагает:

— Попробуй, — берёт меня за руку и держит у своего плоского живота. — Я измерила температуру. Моё время уже прошло.

Со всем грузом, который уже набивается в моих кишках над кое-чем, отвечаю ей:

— Ну да? — говорю. — Знаешь, а я тебя мог бы заделать в этом плане.

Всё Таня со своими резиновыми жопными игрушками.

Пэйж оборачивается и медленно удаляется от меня прочь, и сообщает, всё ещё не оборачиваясь:

— Не знаю, как с тобой всё это обсуждать.

Солнце падает сквозь окно с витражами, сквозь цельную стену сотен оттенков золотого. Крест из светлого дерева. Условности. Алтарь и перила причастия, всё на месте. Пэйж отправляется присесть на одну из лавок, — на церковную скамью, — и вздыхает. Одной рукой прихватывает верхушку планшетки, а другой поднимает несколько прицепленных на неё листочков, обнажая под ними что-то красное.

Дневник моей мамы.

Она вручает дневник мне и рассказывает:

— Можешь сам проверить факты. Вообще говоря, я даже советую тебе так поступить. Если это послужит твоему душевному покою.

Я беру тетрадку, а внутри по-прежнему бред. Ну допустим, итальянский бред.

А Пэйж продолжает:

— Единственный положительный момент — нет абсолютной уверенности в том, что генетический материал, который они использовали, был от действительной исторической личности.

Всё остальное подтверждается, говорит она. Даты, клиники, специалисты. Даже люди из церкви, с которыми она общалась, настаивали, что украденный материал, та ткань, которую культивировала клиника, был единственной достоверной крайней плотью. Она сказала — в Риме это разворошило громадное политическое осиное гнездо.

— Единственный другой положительный момент, — сообщает она. — Я никому не рассказывала, кто ты такой.

«Господи Иисусе» — говорю.

— Нет, я имею в виду — кем ты стал, — поясняет она.

А я говорю:

— Да нет же, я просто выругался.

Чувствую себя так, словно только что мне вернули плохие результаты по биопсии. Спрашиваю:

— Так что оно всё должно значить?

Пэйж пожимает плечами.

— Когда думаешь об этом — ничего, — отвечает она. Кивает на дневник в моих руках и продолжает. — Если не хочешь разрушить себе жизнь — советую тебе сжечь его.

Спрашиваю — как оно повлияет на нас, на меня с ней.

— Мы не должны больше видаться, — отвечает она. — Если ты об этом.

Спрашиваю — она же не верит в этот отстой, а?

А Пэйж говорит:

— Я видела тебя с местными пациентами, и то, как все они обретают покой, как с тобой поговорят, — склоняется сидя, поставив локти на колени и уперев в ладони подбородок, и продолжает. — Просто не могу принять вероятность, что твоя мать права. Не могли же все в Италии, с кем я говорила, оказаться не в своём уме. В смысле, а что если ты и правда прекрасный неземной Божий сын?

Благословенное и безукоризненное олицетворение Господа во плоти.

Желчь взбирается с места моей блокады, и в моём рту привкус кислоты.

«Токсикоз беременных» — неподходящий термин, но это первое, что приходит на ум.

— Так ты хочешь сказать, что спишь только с простыми смертными? — спрашиваю.

А Пэйж, склонившись вперёд, дарит мне взгляд жалости, точно такой же, какой отлично получается у девушки с конторки, подогнув подбородок и приподняв брови к линии волос, — и она говорит:

— Прости, что влезла. Обещаю — не расскажу ни одной живой душе.

А моя мама?

Пэйж вздыхает и пожимает плечами:

— Тут всё просто. Она не в своём уме. Ей никто не поверит.

Да нет, я имел в виду — она скоро умрёт?

— Наверное, — отвечает Пэйж. — Если не случится чудо.

Глава 37

Урсула останавливается, чтобы перевести дух, и поднимает на меня взгляд. Болтает в воздухе пальцами одной руки, другой рукой разминает запястье, и говорит:

— Если бы ты был маслбойкой, у нас ещё полчаса назад вышло бы масло.

Говорю — «прости».

Она плюёт на руку, зажимает в кулаке мой поршень и замечает:

— Совсем на тебя не похоже.

А я уже и не прикидываюсь, будто знаю, что на меня похоже.

Ясное дело, это всего лишь очередной заторможенный денёк в 1734-м, поэтому мы лежим, завалившись на стог сена в конюшне. Я со скрещенными за головой руками, Урсула свилась около меня. Мы особо не шевелимся — иначе сено начнёт колоть нас сквозь одежду. Мы оба разглядываем стропила, деревянные перекладины и плетёную внутренность соломенной крыши. Пауки покачиваются, свисая на своих паутинках.

Урсула берётся дёргать, и спрашивает:

— Видел Дэнни по телевизору?

Когда?

— Вчера вечером.

По поводу?

Урсула мотает головой:

— Строит чего-то. Народ жалуется. Люди думают, что это какая-то церковь, а он не говорит какая.

Смешно и грустно то, как мы не можем ужиться с вещами, которые не в силах понять. То, как нам нужно дать всему наименования, объяснить всё и разобрать на части. Даже если оно стопудово необъяснимо. Даже Бога.

«Расщепить» — неподходящее слово, но это первое, что приходит на ум.

«Это не церковь», — говорю. Отбрасываю галстук за плечо и вытаскиваю из штанов перед рубахи.

А Урсула возражает:

— По ящику считают, что церковь.

Кончиками пальцев одной руки продавливаю область вокруг своего пупка, вокруг пупочного рубчика, но из ручной пальпации ничего не

следует. Простукиваю, выслушивая звуковые вариации, которые могут значить однородную массу, но из предварительной перкуссии тоже ничего не следует.

Большую мышцу заднего прохода, которая удерживает дерьмо внутри, врачи называют ректальным выступом, и если за этот выступ что-то затолкать — оно в жизни не выйдет без посторонней помощи. В неотложных отделениях больниц помощь такого типа называют извлечение колоректальных инородных тел.

Прошу Урсулу — не приложит ли она ухо к моему голому животу да скажет мне, если чего расслышит.

— Дэнни всегда был не слишком собранным, — замечает она и склоняется, прижимая своё тёплое ухо к моему пупку. Пупочному рубчику. Umbilicus, как назвал бы его врач.

Типичный пациент, являющийся с колоректальным инородным телом, это мужчина за сорок или за пятьдесят. Инородное тело почти всегда оказывается тем, что врачи называют самопомещённое.

А Урсула спрашивает:

— Что я должна услышать?

Положительные звуки кишечника.

— Бульканье, скрипы, стуки — всё подряд, — отвечаю. Всё, способное показать, что однажды у меня пойдёт процесс испражнения, а стул вовсе не набивается за какой-то преградой.

Такое клиническое явление, как случаи с колоректальными инородными телами, драматически растёт с каждым годом. Существуют отчёты об инородных телах, которые оставались на месте годами, не пробивая кишечник и не сказываясь серьёзно на здоровье. Даже если Урсула чего расслышит, вряд ли из этого что-то будет следовать. На самом деле, тут понадобится рентгенограмма брюшной полости и проктосигмоидоскопия.

Представьте, как вы лежите на лабораторном столе с подтянутыми к груди коленями, в так называемом «положении складного ножика». Ягодицы ваши будут разведены и закреплены отдельно при помощи липкой ленты. Кто-то приложит периабдоминальную нагрузку, пока кто-то другой вставит пару хирургических щипцов с насадками, и постарается трансанально манипулировать и извлечь инородное тело. Понятно, всё это делается под местным наркозом. Понятно, никто не щёлкает снимков, но всё же.

Всё же. Речь-то идёт обо мне.

Представьте картинку стигмоидоскопа на телеэкране: яркий свет

проталкивается вдоль напряжённого туннеля слизистой ткани, влажной и розовой, проталкивается сквозь сморщенную темноту, пока на экране не оказывается на всеобщее обозрение —дохлый хомяк.

См. также: Голова куклы Барби.

См. также: Красный резиновый жопный шарик.

Рука Урсулы перестаёт скакать вверх-вниз, и она объявляет:

— Слышу, как у тебя бьётся сердце, — говорит. — По звуку, ты очень напуган.

«Нет. Ты что», — возражаю ей, — «Это у меня просто стоит так».

— По тебе не скажешь, — отвечает Урсула, горячо дыша в мою периабдоминальную область. Жалуется. — Я себе заработаю кистевые туннели.

— Ты имеешь в виду кистевой туннельный синдром, — говорю. — И ты не можешь, потому что его не откроют аж до Индустриальной революции.

Чтобы препятствовать продвижению инородного тела вверх по толстой кишке, можно обеспечить сцепление, используя катетер Фоли и вставив воздушный шар в прямую кишку над инородным телом. Затем наполняешь шар воздухом. Более типичен вакуум над инородным телом; такое обычно бывает в случае с самопомещёнными пивными и винными бутылками.

По-прежнему держа ухо на моём пупке, Урсула интересуется:

— Ты знаешь, от кого он?

А я говорю — «Не смешно».

В случае бутылки, самопомещённой открытым концом вверх, нужно вставить катетер Робинсона мимо бутылки, и пустить внутрь воздух, чтобы нарушить вакуум. Если бутылка самопомещена закрытым концом вверх — вставляешь ретрактор в открытый конец бутылки, потом наполняешь бутылку гипсом. Когда гипс затвердеет вокруг ретрактора, тянешь за него, чтобы извлечь бутылку.

Использовать клизму — тоже метод, но менее надёжный.

Здесь, с Урсулой в конюшне, слышно, как снаружи начинается дождь. Капли дождя бормочут по соломе, вода сбегает на двор. Свет в окнах тускнеет, становится тёмно-серым, и слышны быстрые повторяющиеся всплески — кто-то бежит под навес. Изуродованные чёрно-белые цыплята протискиваются внутрь через надломленные доски стен и взъерошивают перья, чтобы стряхнуть с них воду.

А я спрашиваю:

— Что ещё по ящику говорят про Дэнни?

Про Дэнни и Бэт.

Говорю:

— Как думаешь, Иисус автоматически знал что он Иисус с самого начала — или же его мама или кто-то другой ему сказал, а он должен был вжиться?

Лёгкий шорох доносится снизу меня, но не изнутри.

Урсула вздыхает, потом храпит дальше. Её рука становится вялой вокруг меня. Вокруг вялого меня. Её волосы рассыпались по моим ногам. Тёплое ухо тонет в моём животе.

Сено щекочется сквозь спину рубахи.

Цыплята возятся в пыли и сене. Пауки вертятся.

Глава 38

Ушная свеча делается так: берёшь кусок обычной бумаги и сворачиваешь его в тонкую трубочку. В этом нет настоящего чуда. И всё же — начинать-то приходится с тех вещей, которые знаешь.

Всё те же обрывки и осколки, оставшиеся с медфака, в духе того, что я нынче преподаю детишкам на экскурсиях в Колонии Дансборо.

Может быть, нужно работать над собой, чтобы придти к настоящим кайфовым чудесам.

Дэнни является ко мне, проскладировав весь день камни под дождём, и говорит, мол, у него столько серы, что не может слышать. Он сидит на стуле в маминной кухне, Бэт тоже здесь, стоит у задней двери, немного отклонившись назад и опёршись задницей на край кухонной стойки. Дэнни сидит, поставив стул боком возле кухонного стола, одна его рука покоится на столешнице.

А я командую ему сидеть ровно.

Скручивая бумагу в тугую трубочку, рассказываю:

— Просто предположим, — говорю. — Что Иисусу Христу пришлось много практиковаться в роли Сына Божьего, чтобы хоть как-то преуспеть.

Прошу Бэт выключить свет в кухне и ввинчиваю кончик тонкой бумажной трубки в тугую тёмную туннель уха Дэнни. Волосы у него чуток отросли, но речь идёт о меньшем риске возгорания, чем у большинства людей. Не слишком глубоко — заталкиваю трубку в его ухо ровно на такую глубину, чтобы та осталась на месте, когда отпущу её.

Чтобы сосредоточиться, стараюсь не думать об ухе Пэйж Маршалл.

— Что если Иисус провёл молодые годы, делая всё не так, — говорю. — Пока у него не получилось нормально хоть одно чудо?

Дэнни сидит на стуле во тьме, белая трубка торчит у него из уха.

— Дело ли в том, что мы не читаем про неудачные первые попытки Иисуса, — говорю. — Или же в том, что он на самом деле не провоцировал больших чудес, пока ему не стукнуло тридцать?

Бэт выпячивает на меня промежность своих тугих джинсов, а я зажигаю об её змейку кухонную спичку и несу огонёк через комнату к башке Дэнни. Поджигаю спичкой конец бумажной трубки.

От зажжённой спички комнату заполняет запах серы.

Дым вьётся с горящего конца трубки, а Дэнни спрашивает:

— Не получится так, что оно меня обожжёт, точно?

Пламя подбирается ближе к его голове. Сгоревший конец трубки сморщивается и разворачивается. Чёрная бумага, окаймлённая оранжевыми искрами, — такие горячие кусочки бумаги парят под потолок. Некоторые кусочки морщатся и опадают.

Это и есть то, чем называется. Ушная свеча.

А я продолжаю:

— Что если Иисус поначалу просто делал людям хорошее, вроде там, помогал бабушкам переходить дорогу и предупреждал людей, если те забыли выключить фары? — говорю. — Ну, не совсем такое, но вы поняли.

Наблюдая, как огонь трещит ближе и ближе возле уха Дэнни, спрашиваю:

— Что если Иисус провёл годы, работая над большой фигнёй насчёт «рыбин и хлебов»? То есть, может, дело с Лазарем было чем-то таким, до чего ему пришлось раскататься, верно?

А Дэнни скашивает глаза, пытаясь рассмотреть, насколько близко огонь, и спрашивает:

— Бэт, оно меня не обожжёт?

А Бэт смотрит на меня и говорит:

— Виктор?

А я отвечаю:

— Всё нормально.

Даже ещё сильнее навалившись на кухонную стойку, Бэт отворачивает лицо, чтобы не видеть, и заявляет:

— Похоже на какую-то ненормальную пытку.

— Может быть, — говорю. — Может быть, поначалу Иисус даже сам в себя не верил.

И склоняюсь к лицу Дэнни, одним дуновением задувая пламя. Обхватив одной рукой Дэнни за челюсть, чтобы он не дёргался, вытаскиваю остаток трубочки из его уха. Когда показываю её ему, бумага вязкая и тёмная от серы, которую вытянул огонь.

Бэт включает свет в кухне.

Дэнни демонстрирует ей обгорелую маленькую трубочку, а Бэт нюхает её и комментирует:

— Вонючая.

Говорю:

— Может быть, чудеса — это вроде таланта, и начинать надо с малого.

Дэнни зажимает рукой чистое ухо, потом открывает его. Закрывает и открывает снова, потом объявляет:

— Определённо лучше.

— Я не говорю, что Иисус типа показывал карточные фокусы, — продолжаю. — В смысле, просто не делать людям плохого — уже было бы хорошее начало.

Подходит Бэт; она отбрасывает рукой волосы, чтобы наклониться и заглянуть в ухо Дэнни. Она щурится и водит головой туда-сюда, чтобы посмотреть вовнутрь под разными углами.

Сворачивая ещё один листок бумаги в тонкую трубку, замечаю:

— Вы как-то были по ящику, я слышал.

Говорю:

— Простите, — молча скручиваю бумажную трубку всё туже и туже, потом продолжаю. — Это был я виноват.

Бэт выпрямляется и смотрит на меня. Отбрасывает волосы назад. Дэнни засовывает палец в чистое ухо и ковыряется в нём, потом нюхает палец.

Молча держу в руках бумажную трубку, потом говорю:

— Отныне я хочу постараться стать человеком получше.

Давиться в ресторанах, дурить людей — больше я такого дерьма делать не собираюсь. Спать с кем ни попадя, заниматься случайным сексом — такого дерьма тоже.

Говорю:

— Я позвонил в город и на вас нажаловался. Позвонил на телестанцию и нарасказывал им кучу всякого.

У меня болит живот, но от чувства вины, или от набившегося стула — сказать не могу.

Так или иначе — говна во мне по самые уши.

В какую-то секунду становится легче смотреть в тёмное кухонное окно над раковиной, за которым ночь.

В окне отражение меня, с виду такого же отощавшего и тонкого, как моя мама. Нового, праведного и потенциально-божественного Святого Меня. Там Бэт, которая смотрит на меня, сложив руки. Там Дэнни, который сидит у кухонного стола, ковыряясь ногтем в своём грязном ухе. Потом заглядывает под ноготь.

— Дело в том, что мне просто хотелось, чтобы вам была нужна моя помощь, — говорю. — Я хотел, чтобы вам пришлось меня о ней попросить.

Бэт и Дэнни смотрят на меня взаправду, а я разглядываю нас троих, отражённых в окне.

— Ну конечно, сто пудов, — соглашается Дэнни. — Мне нужна твоя помощь, — он спрашивает Бэт. — Что там насчёт нас по ящику?

А Бэт пожимает плечами и отвечает:

— Кажется, это было во вторник, — говорит. — Нет, стойте, что у нас сегодня?

А я спрашиваю:

— Так я тебе нужен?

А Дэнни, всё ещё сидя на стуле, кивает на бумажную трубку, которую я держу наготове. Подставляет мне своё грязное ухо и просит:

— Братан, давай ещё раз. Это круто. Вычисти мне второе ухо.

Глава 39

Уже успело стемнеть, и начался дождь, пока я добрался до церкви, а Нико ждёт меня на стоянке. Она выкручивается внутри своей куртки, на мгновение один рукав виснет пустым, а потом она вытряхивает в него свою руку. Нико тянется пальцами под манжету другого рукава и вытаскивает что-то белое и кружевное.

— Потаскай это для меня с собой, — говорит она, вручая мне тёплую пригоршню кружев и резинок.

Это её лифчик.

— Всего пару часиков, — просит она. — У меня нету карманов.

Она улыбается уголком рта, прикусив немного нижнюю губу верхним зубом. Её глаза сверкают от дождя и уличных фонарей.

Не забирая у неё вещь, говорю, что не могу. Больше не могу.

Нико пожимает плечами и заталкивает лифчик обратно в рукав куртки. Все сексоголики уже ушли внутрь, в комнату 234. Пустые коридоры с навощёным линолеумом и досками объявлений на стенах. Повсюду развешаны новости церкви и художественные проекты детишек. Выполненные пальцем рисунки Иисуса с апостолами. Иисуса с Марией Магдаленой. Направляясь в комнату 234, иду на шаг впереди Нико, а она хватается меня за ремень и тянет, разворачивая спиной к доске объявлений.

Как у меня болит всё внутри, раздуваясь и сжимаясь в судорогах, когда она тянет меня за ремень, — эта боль вызывает у меня кислотную отрыжку в горле. Я прижат спиной к стене, она просовывает свою ногу между моих и обвивает руками мою голову. Её груди мягко и тепло торчат между нас, рот Нико пристраивается поверх моего, и мы оба дышим её духами. Её язык больше у меня во рту, чем у неё. Её нога трёт не мою эрекцию, а мой забитый кишечник.

Спазмы могут означать рак толстой кишки. Могут означать острый аппендицит. Надпочечную недостаточность.

См. также: Закупорка кишок.

См. также: Колоректальные инородные тела.

Курить сигареты. Грызть ногти. В своё время секс был для меня лчением от всего на свете, но сейчас, когда по мне ползает Нико — я просто не могу.

Нико говорит:

— Хорошо, поищем другое место.

Она отступает, а я складываюсь пополам от боли в животе, и спотыкаюсь в направлении комнаты 234, пока Нико шипит за моей спиной.

— Нет, — шипит она.

Из комнаты 234 доносится голос лидера группы:

— Сегодня вечером мы поработаем над четвёртым шагом.

— Не туда, — повторяет Нико, пока мы не оказываемся в открытых дверях, а нас рассматривает толпа народу, сидящего вокруг широкого низкого стола, заляпанного краской и в бугорках от засохшего клея. Стулья в виде маленьких пластиковых ковшиков такие низкие, что колени у всех прямо торчат спереди. Все эти люди молча смотрят на нас. Все эти мужчины и женщины. Городские легенды. Все эти сексоголики.

Лидер группы спрашивает:

— Кто здесь у нас ещё ведёт работу над четвёртым шагом?

Нико проскальзывает поперёк дороги и нашёптывает мне в ухо, шепчет:

— Если ты пойдёшь туда, ко всем этим несчастным, — объявляет Нико. — То я тебе больше никогда не дам.

См. также: Лиза.

См. также: Таня.

И я прохожу к столу, падая на пластиковый стул.

Все смотрят, а я говорю:

— Привет. Я Виктор.

Глядя Нико в глаза, сообщаю:

— Меня зовут Виктор Манчини, и я сексоголик.

И добавляю, что застрял на своём четвёртом шаге, будто навечно.

Чувство похоже не столько на окончание, сколько на очередную начальную точку.

А Нико, по-прежнему стоя в дверях, плачет не какими-нибудь там слезами, а настоящими рыданиями: чёрные капли туши градом рвутся из её глаз, и она размазывает их, вытирая рукой. Нико говорит, даже орёт:

— Ну а я — нет! — и на пол из рукава её куртки выпадает лифчик.

Кивая на неё, говорю:

— А это Нико.

А Нико произносит:

— Ебись-ка вы все, ребята, в рот, — подхватывает лифчик и исчезает.

И тут все говорят:

— Привет, Виктор.

А лидер группы продолжает:

— Итак.

Рассказывает:

— Как я говорил, лучшая точка для проникновения в суть — это припомнить, где вы потеряли девственность...

Глава 40

Где-то на северо-северо-восток над Лос-Анджелесом я почти растёр себе кое-что, поэтому попросил Трэйси отпустить меня на минутку. Это было целую жизнь назад.

С длинной белой ниткой слюны, одним концом свисающей с моей шишки, а другим — с её нижней губы, с горячим покрасневшимся от недостатка воздуха лицом, ещё держа в кулаке мой натёртый поршень, Трэйси усаживается назад на свои каблуки, и рассказывает, что в «Кама Сутре» пишут, мол, сделать губы по-настоящему красными можно, натирая их потом с мошонки белого жеребца.

— Серьёзно, — говорит она.

В моём рту теперь появился неприятный привкус, и я внимательно разглядываю её губы: её губы и мой поршень одинакового раздуто-пурпурного цвета. Спрашиваю:

— Ты ведь такой фигни не делала, правда?

Скрипит ручка двери, и мы оба бросаем на неё быстрый взгляд, чтобы убедиться, что та закрыта.

Это первый раз, до которого требует снизойти любая зависимость. Тот первый раз, с которым не сравнится никакой из последующих.

Нет ничего хуже, чем когда дверь открывает маленький ребёнок. Следующее из худшего — когда какой-нибудь мужик распахивает дверь и не может ничего понять. Даже если ты пока один, когда дверь открывает ребёнок, нужно быстрее скрестить ноги. Притвориться, что это нечаянно. Взрослый парень может захлопнуть дверь с грохотом, может проорать:

— Закройся в следующий раз, п-придурок! — но всё равно покраснеет только он.

Потом, хуже всего, продолжает Трэйси, это быть женщиной, которую «Кама Сутра» зовёт «женщина-слониха». Особенно, если ты с тем, кого называют «мужчина-заяц».

Насчёт животных — это они про размер гениталий.

Потом прибавляет:

— Я не имела в виду то, как оно прозвучало.

Не тот человек откроет дверь — и ты на всю неделю останешься в его кошмарах.

Лучшая защита для тебя — кто бы этого не сделал, кто бы ни открыл дверь и не увидел тебя, сидящего внутри, он всегда сочтёт это за свою

ошибку. За свою вину.

Вот я всегда считал. Вваливался к мужчинам и женщинам, сидящим на унитазах в самолётах, поездах, автобусах «Грейхаунд», или в таких вот крошечных одноместных туалетах-юнисекс «или/или» по ресторанам; открывал я дверь, обнаруживая сидящую внутри незнакомку, какую-нибудь блондинку со всевозможными голубыми глазами и зубами, с кольцом в пупке и на высоких каблуках; между колен у неё растянута трусики-стринги, а все остальные вещи и лифчик сложены на полочке у раковины. Каждый раз, когда такое случалось, я раздумывал — какого хрена люди не в состоянии закрыть дверь?

Как будто что-то бывает случайно.

В странствиях ничего не бывает случайно.

Может статься, где-то в поезде, между домом и работой, вы откроете дверь туалета — и обнаружите там брюнетку, волосы у неё заколоты, и только длинные серёжки дрожат вдоль её белой шеи, а она просто сидит внутри, свалив на пол нижнюю половину шмоток. Её блузка распахнута, а под ней ничего, кроме её рук, обхвативших груди: её ногти, губы и соски одного и того же оттенка, среднего между красным и коричневым. Ноги у неё такие же гладкие, как шея, — гладкие, как машина, на которой можно нестись со скоростью двести миль в час; а волосы её повсюду того же тёмного цвета, и она облизывает губы.

Вы захлопываете дверь со словами:

— Извиняюсь.

А она отзывается откуда-то из глубины:

— Не надо.

И по-прежнему не запирает дверь. Маленький значок по-прежнему гласит:

«Свободно».

Получалось так, что я летал туда-обратно с Восточного побережья в Лос-Анджелес, пока ещё был в государственной программе подготовки врачей. Во время каникул между семестрами. Шесть раз я открывал дверь, а за ней оказывалась всё та же рыжеволосая любительница йоги, обнажённая снизу до пояса, подтянувшая и скрестившая ноги на сиденье унитаза, полирующая ногти фосфорной полоской коробка спичек, словно пытаюсь высечь из себя огонь, одетая в одну только шёлковую блузку, узлом завязанную на груди, — и все шесть раз она смотрит вниз на розовую веснушчатую себя, обрамлённую оранжевым дорожным ковриком, потом её глаза цветом в точности как олово медленно поднимаются на меня, — и каждый раз она заявляет:

— Если не возражаешь, — говорит. — Здесь я.

Все шесть раз захлопываю дверь у неё под носом.

Всё, что могу придумать сказать в ответ:

— Ты что, английского не знаешь?

Все шесть раз.

Всё происходит меньше чем за минуту. На раздумья времени нет.

Но случается такое всё чаще и чаще.

В каком-то другом перелёте, может быть, на авиамаршруте между Лос-Анджелесом и Сиэтлом, вы откроете дверь, за которой окажется пляжный блондин, обхвативший парой загорелых рук большой фиолетовый поршень у себя между ног: мистер Клёвый отбрасывает с глаз спутанные волосы, направляет свой поршень, стиснутый и влажно блестящий внутри гладкой резинки, — направляет его прямо на тебя и предлагает:

— Эй, чувак, присоединяйся...

Доходит до того, что каждый раз ты идёшь в сортир, и маленький значок гласит «свободно», — а внутри обязательно кто-то есть.

Ещё одна женщина, погружённая в себя по две костяшки.

Очередной мужчина, у которого между большим и указательным пальцем танцуют его четыре дюйма, наострившиеся и готовые выбросить маленьких белых солдатиков.

Начинаешь раздумывать — что они такое подразумевают под «свободно».

Даже в пустом сортире тебя встречает запах спермицидного мыла. Бумажные салфетки постоянно израсходованы до единой. Замечаешь отпечаток босой ступни на зеркале в туалете, на высоте шесть футов от пола, у верхнего края зеркала, — маленький изогнутый отпечаток женской ступни, пять круглых пятнышек от её пальцев; и думаешь — что здесь случилось?

Как в случае закодированных публичных объявлений, вальса «Дунайские волны» и сестры Фламинго, недоумеваешь — что происходит?

Думаешь — почему не сообщили нам?

Примечаешь след помады на стене, почти возле пола, и можно только гадать, что здесь творилось. Тут же засохшие белые полосы с момента последнего спуска, когда чей-то поршень выбросил белых солдатиков на пластиковый простенок.

В некоторых рейсах стены окажутся всё ещё влажными наощупь, зеркало — запотевшим. Водосток раковины забит наглухо, засорён всеми оттенками коротких вьющихся волосин. На туалетной полочке, которая возле раковины, — ровная окружность от геля, контрацептивного геля и

смазки, на том месте, куда кто-то клал противозачаточную диафрагму. В некоторых рейсах там две или три безупречные окружности разных радиусов.

Всё это внутренние обычаи длинных перелётов, через Тихий океан или через полюс. Прямые рейсы из Лос-Анджелеса в Париж. Или откуда угодно в Сидней.

В моём лос-анджелесском перелёте номер семь, рыженькая любительница йоги хватает свою юбку с пола и торопится выйти за мной наружу. Ещё застёгивая змейку сзади, преследует меня всю дорогу до моего сиденья и усаживается возле меня со словами:

— Если твоей целью было задеть мои чувства, то можешь давать уроки.

Причёска у неё — блестящая, в стиле мыльной оперы, а блузка её уже застёгнута спереди круто выгнутым изгибом со всеми делами, заколота большой драгоценной брошью.

Снова повторяешь:

— Извиняюсь.

Это по дороге на запад, где-то на северо-северо-западе от Атланты.

— Слушай, — объявляет она. — Я слишком много работаю, чтобы сносить такое дерьмо. Тебе ясно?

Говоришь:

— Простите.

— Я в пути три недели каждого месяца, — продолжает она. — Я плачу за дом, который никогда не вижу... За футбольный лагерь для моих детей... Одна только плата за папин дом престарелых — уже куча денег. Разве я хоть чего-то не заслуживаю? Выгляжу я нормально. Самое меньшее, что ты мог бы сделать — это не хлопать дверью у меня под носом.

На полном серьёзе, так и говорит.

Она склоняется, чтобы сунуть голову между мной и журналом, который я притворяюсь, что читаю.

— Только не делай вид, что не понял, — говорит. — Секс — ни для кого не тайна.

А я отзываюсь:

— Секс?

А она прикрывает рукой рот и усаживается обратно.

Говорит:

— О Боже, извини меня, пожалуйста. Мне просто казалось... — и тянется нажать кнопку вызова стюардессы.

Мимо проходит человек из обслуживания, и рыженькая заказывает два

двойных бурбона.

Говорю:

— Надеюсь, ты собираешься выпить оба сама.

А она отвечает:

— Вообще-то они оба для тебя.

Это и будет мой первый раз. Тот первый раз, с которым не сравнится никакой из последующих.

— Давай без ссор, — предлагает она, протягивая мне прохладную белую руку. — Я Трэйси.

В лучшем случае это могло бы происходить в «Локхид Три-Стар 500» с его прямой аллеей из пяти больших туалетов, вынесенных в заднюю часть салона туристского класса. Просторных. Звукоизолированных. У всех за спиной, так что не видно, кто входит и кто выходит.

По сравнению с этим нельзя не удивиться — какое животное проектировало «Боинг 747-400», где в каждый туалет кроме сиденья будто ничего и не помещается. Для хоть какого-то нормального уединения придётся тащиться в туалеты позади кормового пассажирского салона. Забудьте про одиночные боковые кабинки нижнего уровня в бизнес-классе, если не хотите, чтобы все знали, что у вас там происходит.

Всё просто.

Если вы парень, то делается оно так: усаживаетесь в сортире, выставив наружу своего Дядюшку Чарли, ну, вы поняли, большого красного панду, и приводите его в стойку «смирно», ну, ясно, полное вертикальное положение, а потом просто ждёте в своей маленькой пластиковой будке и надеетесь на лучшее.

Представьте, что это рыбалка.

Если вы католик, — здесь возникает такое же чувство, как когда сидишь на исповеди. Ожидание, облегчение, искупление.

Представьте, что это рыбалка типа «поймал-отпустил». То, что некоторые называют «спортивная рыбная ловля».

Другим способом делается всё так: просто открываете двери, пока не найдёте то, что понравится. Точно как на старых телеиграх, когда выбираешь любую дверь, а за ней приз, который можно забрать домой. Точно как девушка или тигр.

За некоторыми дверями окажется роскошная попка из первого класса, явившаяся на экскурсию в низшее общество, немного потусовать поглубже со вторым сортом. Меньше вероятность, что встретит кого-то знакомого. За другими дверями обнаружится какой-нибудь престарелый бычара, забросивший через плечо коричневый галстук, распёрший стены

волосатыми коленями, ласкающий свою кожистую дохлую змею, и он скажет:

— Прости, друг, ничего личного.

В таких случаях вам будет настолько противно, что даже не сможете ответить:

— Да как же.

Или:

— Можешь даже не мечтать, друган.

Тем не менее, вероятность награды просто выше некуда, чтобы заставить и дальше толкать на удачу.

Тесное пространство, туалет, две сотни незнакомцев сидят всего в нескольких дюймах — восторг полнейший. Недостаток места для манёвров — его можно взять сверхгибкостью. Используйте воображение. Немного творчества и несколько простых упражнений на растяжку, и можно — тук-тук — стучаться в ворота рая. Вы поразитесь, насколько быстро летит время.

Возбуждение удваивается духом состязания. Риском и опасностью.

Так вот, это не американский Великий Запад, или гонка за Южным полюсом, или стать первым человеком, прошедшим по луне.

Это другой вид космических исследований.

Тут наносишь на карту дикие земли другого типа. Свой собственный бескрайний внутренний ландшафт.

Это последний предел для завоевания: другие люди, незнакомцы, джунгли их рук и ног, волос и кожи, запахов и стонов — это касается всех, кого ты ещё не сделал. Великие неизвестности. Последний лес для разорения. Здесь всё, о чём можно было только мечтать.

Ты — Христофор Колумб, плывущий за горизонт.

Ты — первый пещерный человек, рискнувший съесть устрицу. Быть может, эта типичная устрица ничего нового из себя не представляет, но для тебя она новая.

Подвешенным в пустоте, на полпути из четырнадцати часов между Хитроу и Йо-бургом, можно получить десяток жизненных приключений. Дюжину, если показывают паршивый фильм. Больше, если рейс набит под завязку, меньше, если есть турбулентность. Больше, если ты не против, чтобы дело делал рот парня, меньше, если вернёшься на место во время разноса блюд.

Что не самое лучшее в этот первый раз: когда я сижу пьяный, а меня впервые в жизни шлёпает наша рыженькая, Трэйси, происходит такое — мы попадаем в воздушную яму. Я-то, вцепившись в сиденье унитаза,

проваливаюсь вместе с самолётом, — но Трэйси срывается, стреляя вверх, как пробка из бутылки шампанского, с оставшейся внутри резинкой, — и бьётся причёской о пластик потолка. В тот же миг я кончаю, и мой выброс повисает в воздухе, — невесомые белые солдатики, висящие на полпути между ней, всё ещё у потолка, и мной, сидящим на толчке. Потом, хлоп — и мы снова вместе: она и резинка, я и мой выброс, всё приземляется обратно на меня, складывается как счёты, — все её сто-пятьдесят-с-чем-то фунтов.

После таких развлечений странно становится, как я до сих пор не ношу грыжевой бандаж.

А Трэйси хохочет и объявляет:

— Обожаю, когда так получается!

После этого уже обычная турбулентность шлёпает её волосами мне по роже, её сосками по моему рту. Подбрасывает жемчуг на её шее. Золотую цепочку на моей. Вертит мои орехи в их сумке, туго прижатой у обода пустого толчка.

Там и сям подбираешь маленькие хитрости, чтобы усовершенствовать процесс. Например, в этих старых французских «Супер-Каравеллах» с треугольными окошками и настоящими занавесками нету сортира в первом классе, только пара позади в туристском, поэтому вы лучше не пробуйте ничего необычного. Основная индийская тантрическая позиция нормально сработает. Вы оба стоите лицом к лицу, женщина поднимает одну ногу вдоль вашего бедра. Делаете всё точно как в «расщеплённом тростнике» или в классическом «фланкете». Пишите собственную «Кама Сутру». Разрабатывайте всякое.

Вперёд. Сами знаете, что вам хочется.

Только это с учётом того, что вы оба хоть примерно одного роста. Иначе не вините меня за то, что может получиться.

И не рассчитывайте, что вас будут кормить с ложечке. Я рассказываю с учётом некоторых основных знаний с вашей стороны.

Даже если застрянете на «Боинге 757-200», даже в крошечном переднем туалете, всё равно можно организовать усовершенствованную китайскую позицию, когда вы сидите на унитазах, а женщина пристраивается на вас лицом вперёд.

Где-то на северо-северо-восток над Литтл-Роком Трэйси мне сообщает:

— «Помпуаром» тут было бы запросто. Это когда албанские женщины просто доят тебя своими сократительными мышцами влагалища.

Дрочат тебе одними своими внутренностями?

Трэйси отвечает:

— Ага.

Албанские женщины?

— Ага.

Спрашиваю:

— А у них есть авиаиния?

Ещё узнаёшь такую вещь: когда стучится рейсовый персонал, можно быстро свернуться «флорентийским способом», когда женщина обхватывает мужчину у основания и туго оттягивает его кожу, чтобы та стала чувствительнее. Такое существенно ускоряет процесс.

Чтобы всё замедлить, сильно прижмите мужчину снизу у основания. Даже если дело этим не тормознётся, вся дрянь отступит ему в мочевого пузырь, и сбережёт вам уйму времени на чистку. Эксперты называют такое «саксонус».

Мы с рыженькой в просторном заднем туалете «Макдоннела-Дугласа Ди-Си-10 серии 30CF», и та показывает мне негритянскую позицию, в которой она становится коленями по сторонам раковины, а я кладу сзади ладони на её бледные плечи.

От её дыхания потеет зеркало, лицо у неё краснеет от согнутого положения, и Трэйси сообщает:

— Ещё из «Кама Сутры» — если мужчина вотрёт себе сок граната и тыквы и масло из огуречных семян, то у него встанет, и простоит шесть месяцев.

В этом совете — прямо какой-то золушкин крайний срок.

Она замечает выражение моего лица в зеркале и говорит:

— Блин, ну не надо так всё принимать на свой счёт.

Где-то строго на север над Далласом я пытаюсь чуть разогреться, а она рассказывает мне способ заставить женщину никогда тебя не бросить — для этого нужно покрыть ей голову колючками крапивы и обезьяним помётом.

А я в ответ, мол, что — серьёзно?

А если искупать жену в буйволовом молоке и коровьей желчи — то любой мужчина, который ей воспользуется, станет импотентом.

Говорю — ничего удивительного.

Если женщина вымочит верблюжью кость в соке календулы и покроет этой жидкостью свои ресницы — то любой мужчина, на которого она посмотрит, будет околдован. Ещё верняком пройдёт павлинья, соколиная или грифовая кость.

— Глянь сам, — советует она. — Всё в большой книжке.

Где-то на юго-юго-восток над Альбукерке моё лицо стало как яичный белок от вылизывания, щёки мои растёрлись об её волосы, а Трэиси сообщает, что бараньи яички, сваренные в подслащённом молоке, вернут тебе мужскую силу.

Потом прибавляет:

— Я не имела в виду то, как оно прозвучало.

А мне казалось, что я ещё неплохо справляюсь. Учитывая пару двойных бурбонов и то, что к этому моменту уже три часа был на ногах.

Где-то на юго-юго-запад над Лас-Вегасом ноги у нас обоих дрожали как в ознобе, — а она показывает мне то, что «Кама Сутра» называет «выщипыванием». Потом «высасыванием манго». Потом «пожиранием».

Кувыркаться друг с другом в собственной чисто вытертой пластиковой комнатухе, подвешенными в процессе во времени и пространстве — это не мазохизм, но что-то близкое.

Прошли золотые времена «Локхидов Супер-Созвездий», где каждый сортир по левому и правому борту был двухместным номером: раздевалка с отдельным туалетом за дверью.

Пот струится по её гладким мышцам. Мы вдвоём кроем друг друга: две совершенные машины, выполняющие работу, для которой созданы. Иногда минутами соприкасаемся только моей поршневой запчастью и её краешками, которые влажнеют и выбиваются наружу; плечи мои отведены назад и развёрнуты по пластиковой стенке, остальная моя часть ниже пояса тычется вперёд. С пола Трэиси переставляет одну ногу на край раковины и опирается на поднятую коленку.

Нас лучше разглядывать в зеркале: на плоскости и за стеклом, в фильме, в файле, на странице журнала: кто-то другой, не мы, — кто-то красивый, без жизни и будущего вне данного момента.

Вашей лучшей ставкой на «Боинге 767» будет большой центральный туалет в конце салона туристского класса. Вам совершенно не подфартило, если вы на «Конкорде», где туалетные отсеки миниатюрны — хотя это моё личное мнение. Если вы там будете только отливать, разбираться с контактными линзами или чистить зубы — уверен, места хватит.

Но если у вас возникнет желание проверить то, что «Кама Сутра» называет «ворон», или «квизад», или всё остальное, для чего нужно больше двух дюймов движения туда-обратно, то лучше надейтесь попасть на «Европейский Аэробус 300/310» с его широченными задними туалетами в туристском классе. Для полочного места и простора для ног таких же размеров — нет ничего лучше двух задних туалетов «Британского Авиаборта Один-Одиннадцать» для полного счастья.

Где-то на северо-северо восток над Лос-Анджелесом я почти растираю себе кое-что, поэтому прошу Трэйси отпустить.

И спрашиваю:

— Зачем ты это делаешь?

А она говорит:

— Что?

«Это».

А Трэйси улыбается.

Людам, которых встречаешь за незапертыми дверями, надоело болтать о погоде. Здесь люди, уставшие от надёжности. Здесь люди, которые переделали ремонты слишком во многих домах. Здесь загорелые люди, которые бросили курить, употреблять сахар, соль, жиры и мясо. Это люди, которые наблюдали, как их мамы с папами и дедушки с бабушками учатся и работают всю жизнь лишь для того, чтобы потерять всё в итоге. Растрачивают всё, чтобы остаться жить на одной только питательной трубке. Забывают даже, как жевать и глотать.

— Мой отец был доктором, — говорит Трэйси. — А там, где он сейчас, ему не вспомнить и собственное имя.

Те мужчины и женщины, которые сидят за незапертыми дверями, знают, что дом попросторнее — это не ответ. Как и супруг получше, денег побольше, кожа поглаже.

— Чем ты не обзаводись, — говорит она. — Всё оказывается лишь очередной вещью, которую придётся потерять.

Ответ в том, что ответа нет.

На полном серьёзе, момент вышел тяжеловатый.

— Нет, — отвечаю, проводя пальцем между её бёдер. — Я про вот это. Зачем ты бреешь шерсть?

— Ах, это, — говорит она, закатывая глаза и улыбаясь. — Чтобы можно было носить стринги.

Пока я устраиваюсь на унитазе, Трэйси изучает себя в зеркало, видя не столько своё лицо, сколько то, что осталось от её косметики, — и одним влажным пальцем подчищает смазанный край помады. Растирает пальцами крошечные следы укусов около своих сосков. То, что «Кама Сутра» назвала бы «рассеянные облака».

Она говорит, обращаясь к зеркалу:

— Причина, по которой я странствую, в том, что если вдуматься — вообще нет причин делать всё, что угодно.

Нет смысла.

Здесь люди, которые не столько хотят оргазма, сколько просто забыть.

Всё на свете. Только на две минуты, на десять минут, на двадцать, на полчаса.

Или, может, когда с людьми обращаются как со скотом, так они себя и ведут. А может — это просто повод. Может им скучно. Может быть, никто не приспособлен торчать целый день, втиснувшись в консервную банку, набитую другими людьми, не шевеля ни мускулом.

— Мы здоровые, молодые, бодрые и живые люди, — говорит Трэйси. — Если присмотреться — какое поведение более неестественно?

Она одевает назад свою блузку, снова накатывает колготки.

— Зачем я вообще что-то делаю? — рассказывает. — Я достаточно образована, чтобы отговорить себя от любой затеи. Чтобы разобрать на части любую фантазию. Объяснить и забыть любую цель. Я такая сообразительная, что могу опровергнуть любую мечту.

Сию на том же месте, голый и усталый, а экипаж объявляет наше снижение, наше приближение ко внешней области Лос-Анджелеса, потом текущее время и температуру, потом информацию по связанным полётам.

И на какой-то миг мы с этой женщиной стоим молча и прислушиваемся, глядя вверх в никуда.

— Я делаю это — это — потому что мне приятно, — говорит она, застёгивая блузку. — А может — и сама не знаю, зачем таким занимаюсь. Между прочим, за то же самое казнят убийц. Потому что если переступишь раз какие-то границы — то будешь переступать их и дальше.

Спрятав руки за спину, застёгивая змейку на юбке, она продолжает:

— По правде говоря, я на самом деле и не хочу знать, зачем занимаюсь случайным сексом. Просто занимаюсь, и всё, — говорит. — Потому что как изобретёшь для себя хорошую причину — тут же начинаешь урезать всё под неё.

Она вступает обратно в туфли, взбивает волосы по бокам и просит:

— Пожалуйста, не думай, что это было нечто особенное.

Отпирая дверь, продолжает:

— Расслабься, — говорит. — Когда-нибудь, всё, чем мы только что занимались, покажется тебе так, мелочёвкой.

Высунувшись боком из пассажирского салона, она добавляет:

— Сегодня просто первый раз, когда ты переступил эту обычную черту, — оставляя меня в наготе и одиночестве, напоминает. — Не забудь закрыть за мной дверь, — потом смеётся и говорит. — Если тебе, конечно, теперь захочется её закрывать.

Глава 41

Девушка с конторки уже не хочет кофе.

Не хочет пойти проверить свою машину на стоянке.

Заявляет:

— Если что-то случится с моей машиной — я знаю, кого винить.

А я говорю ей — «шшшшшшшшшшш».

Говорю, мне послышалось что-то важное — утечка газа, или ребёнок где-то плачет.

Голос моей мамы, приглушённый и усталый, доносится из интеркома из неизвестно какой комнаты.

Мы прислушиваемся, стоя у конторки в холле Сент-Энтони, а моя мама рассказывает:

— Лозунг для Америки — «Недостаточно Хорошо». Всё всегда у нас недостаточно быстрое. Всё недостаточно большое. Мы вечно недовольны. Мы постоянно совершенствуем...

Девушка с конторки объявляет:

— Не слышу никакой утечки газа.

Тихий, усталый голос говорит:

— Я провела всю свою жизнь, нападая на всё подряд, потому что слишком боялась рискнуть создать что-то...

А девушка с конторки обрубает его. Жмёт на микрофон и произносит:

— Сестру Ремингтон к приёмному столу. Сестру Ремингтон к приёмному столу, немедленно.

Жирного охранника с нагрудным карманом, набитым авторучками.

Но когда она отпускает микрофон, из интеркома снова доносится голос, тихий и шепчущий.

— Вечно всё было недостаточно хорошо, — говорит моя мама. — И вот, под конец моей жизни я осталась ни с чем...

И её голос гаснет, уходя вдаль.

Ничего не осталось. Только белый шум. Помехи.

А теперь она умрёт.

Если не случится чудо.

Охранник вылетает через бронированную дверь, смотрит на девушку за конторкой, спрашивает:

— Ну? И что здесь за ситуация?

И на мониторе, в зернистом чёрно-белом, она показывает на меня,

сложившегося пополам от боли в кишках, на меня, держащего в руках свой раздутый живот, и объявляет:

— Он.

Говорит:

— Этому человеку нужно запретить доступ на территорию — начиная с текущего момента.

Глава 42

Как показали в новостях прошлым вечером — я стою ору, размахивая руками перед камерой, Дэнни стоит чуток позади, пристраивая камень в кладку, а Бэт ещё чуть сзади него, разбивает камень в пыль, пытаясь вырубить статую.

По ящику я получился желтушно-жёлтым, сгорбленным от вздутия и веса моих кишок, расползающихся внутри на части. Согнувшись, поднимаю рожу, чтобы смотреть в камеру; моя шея гнётся дугой от головы к воротничку. Шея у меня толщиной в руку, кадык торчит наружу, толстый как локоть. Это было вчера, сразу после работы, поэтому на мне по-прежнему блузкообразная полотняная рубаша из Колонии Дансборо и бриджи. Плюс башмаки с пряжками и галстук — тоже хорошего маловато.

— Братан, — замечает Дэнни, сидя рядом с Бэт в её квартире, когда мы смотрим себя по ящику. — Видон у тебя не особо.

Видон у меня, как у коренастого Тарзана из моего четвёртого шага, согнувшегося у обезьяны с жареными каштанами. Жирный спаситель с потрясной улыбкой. Герой, которому уже нечего скрывать.

По ящику я пытался сделать одно — объяснить всем, что недовольства не было. Пытался убедить людей, что сам же и заварил всю кашу, позвонив в город и рассказав, что живу недалеко, и какой-то псих строит тут без разрешения непонятно что. И стройплощадка несла угрозу детям из окрестностей. И работавший парень не казался особо кайфовым. И это точно была сатанинская церковь.

Потом позвонил им на телестанцию и рассказал всё то же самое.

И вот так всё началось.

Про то, что сделал я всё это только чтобы заставить Дэнни во мне нуждаться, ну, этот момент я не разъясняю. Не по телевизору же.

На самом деле все мои объяснения остались на полу монтажного кабинета, потому что по ящику я просто этот вон потный раздутый маньяк, пытающийся заслонить рукой объектив, орущий на репортёра, чтобы тот проваливал, и хлопающий рукой по микрофону со звуком «бум», пробивающимся сквозь съёмку.

— Братан, — говорит Дэнни.

Бэт записала на плёнку мой маленький окаменелый миг, и теперь мы смотрим его снова и снова.

Дэнни продолжает:

— Братан, ты смотришься как одержимый дьяволом, или что-то вроде.
На самом деле я одержим совсем другим божеством. Это я так пытаюсь быть хорошим. Пытаюсь провести несколько маленьких чудес, чтобы раскачаться до крупных вещей.

Сидя здесь с термометром во рту, проверяю его, а на нём 35, 5. С меня продолжает сочиться пот, поэтому говорю Бэт:

— Прости за твой диван.

Бэт берёт термометр посмотреть, потом кладёт свою прохладную руку мне на лоб.

А я добавляю:

— И прости, что считал тебя тупорылой безмозглой девкой.

Быть Иисусом значит быть честным.

А Бэт отвечает:

— Всё нормально, — говорит. — Мне всегда было плевать, что ты считаешь. Только что Дэнни, — она сбивает термометр и всовывает его обратно мне под язык.

Дэнни перематывает плёнку, и вот я снова здесь.

Сегодня ночью у меня болят руки, а кисти ободраны от работы с известью в растворе. Спрашиваю Дэнни — так что, каково оно — быть знаменитым?

Позади меня на телеэкране поднимаются и вздымаются по кругу стены из камня, образуя основание башни. Другие стены встают вокруг зазоров для окон. Сквозь просторный дверной проём виден пролёт широких ступеней, воздвигнутых внутри. Другие стены сходят на нет, обозначая основания для новых крыльев, новых башен, новых галерей, колоннад, лепных водоёмов, врытых в землю дворов.

Голос репортёра интересуется:

— Здание, которое вы строите — это дом?

А я отвечаю — «мы не знаем».

— Это какая-то церковь?

«Мы не знаем».

Репортёр вступает в кадр: мужчина с коричневыми волосами, зачёсанными в одну уложенную выпуклость надо лбом. Он подносит руку с микрофоном к моему рту со словами:

— Тогда что же вы строите?

«Мы не узнаем, пока не уложим последний камень».

— Но когда это произойдёт?

«Мы не знаем».

После такой долгой жизни в одиночку, приятно говорить — «мы».

Наблюдая, как я говорю это, Дэнни тычет пальцем в экран и комментирует:

— Отлично.

Дэнни говорит, что чем дольше мы сможем продолжать строить, чем дольше мы сможем продолжать созидание, тем большее станет возможным. Тем дольше мы сможем выносить своё несовершенство. Задержать окончательное удовлетворение.

Считайте идею тантрической архитектурой.

По ящику я объясняю репортёру:

— Тут дело в процессе. Дело не в том, чтобы что-то завершить.

В чём самый прикол — я всерьёз считаю, будто помогаю Дэнни.

Каждый камень — это день, который Дэнни не растратил. Гладкий речной гранит. Угловатый тёмный базальт. Каждый камень — маленькое надгробье, маленький монумент каждому из дней, в которых труд большинства людей просто испаряется, выдыхается или становится безнадёжно просроченным с того момента, как он был выполнен. Не упоминаю всё это при репортёре, и не спрашиваю у него, что случается с его собственной работой после той секунды, как она уходит в эфир. Эфиры. Это и есть передача. Она улечивается. Стирается. В нашем мире, где мы работаем на бумаге, упражняемся на машинах, где время, силы и деньги уходят от нас, принося так мало, чтобы показать взамен, — Дэнни, который лепит камни в кучу, кажется нормальным.

Репортёру я это всё не рассказываю.

Вот он я: машу руками и говорю, что нам нужно больше камней. Если люди принесут нам камни — будем признательны. Если люди захотят помочь — будет здорово. Мои волосы слиплись и потемнели от пота, живот раздулся, вываливаясь из штанов спереди, а я рассказываю, что единственное, чего мы не знаем — это чем всё обернётся. И более того — мы не хотим знать.

Бэт удаляется в кухню поджарить поп-корн.

Я мучаюсь от голода, но есть не решаюсь.

По ящику финальные кадры стен, оснований для длинной лоджии колонн, которые когда-нибудь поднимутся к крыше. Пьедесталы для статуй. Когда-нибудь. Бассейны для фонтанов. Стены вздымаются, намечая контрфорсы, фронтоны, шпили, купола. Арки взлетают, чтобы когда-нибудь поддерживать своды. Башенки. Когда-нибудь. Кусты и деревья уже разрастаются, чтобы укрыть и похоронить под собой некоторые из них. Ветки прорастают сквозь окна. Трава и сорняки растут в некоторых комнатах по пояс. Всё разворачивается перед камерой — всё здесь только

фундамент, который, быть может, никто из нас не увидит законченным в своей жизни.

Репортёру я этого не рассказываю.

За кадром можно разобрать выкрик оператора:

— Эй, Виктор! Помнишь меня? В «Шез-Буфет»? Ты тогда чуть не задохнулся...

Звонит телефон, и Бэт отправляется взять трубку.

— Братан, — говорит Дэнни, снова перематывая плёнку. — От того, что ты им только что сказал, у некоторых людей просто посрывает крышу.

А Бэт зовёт:

— Виктор, это из больницы твоей мамы. Они тебя ищут.

Ору в ответ:

— Одну минутку.

Прошу Дэнни снова прокрутить плёнку. Я уже почти готов предстать перед мамой.

Глава 43

Для следующего чуда покупаю пудинг. Здесь шоколадный пудинг, ванильный и фисташковый пудинг, ирисовый пудинг, — весь заправленный жирами, сахаром и консервантами, запечатанный в небольшие пластиковые трубки. Просто отдираешь бумажный верх и гребёшь его ложкой.

Консерванты — вот что ей нужно. Чем больше консервантов, мне кажется, — тем лучше.

С магазинной сумкой, битком набитой пудингом иду в Сент-Энтони.

Ещё так рано, что в холле за своей конторкой нет девушки.

Утонув в своей постели, мама смотрит из-под век и спрашивает:

— Кто?

«Это я» — говорю.

А она спрашивает:

— Виктор? Это ты?

А я говорю:

— Да, кажется да.

Пэйж рядом нет. Никого рядом нет, ещё очень раннее субботнее утро. Солнце только встаёт, просвечивая сквозь шторы. Мамина соседка по комнате миссис Новак-раздевалка, свернулась на боку на другой кровати, поэтому говорю шёпотом.

Отдираю верхушку с первого шоколадного пудинга и нахожу в магазинной сумке пластиковую ложечку. Придвинув к её кровати стул, набираю первую ложку пудинга и говорю ей:

— Я пришёл тебя спасти.

Рассказываю ей, что, наконец, узнал о себе правду. Про то, как родился хорошим человеком. Воплощением абсолютной любви. Что я могу снова стать хорошим, только вот начинать придётся с малого. Ложка проскальзывает между её губ и оставляет внутри первые пятьдесят калорий.

Со следующей ложкой сообщаю ей:

— Я знаю, на что тебе пришлось пойти, чтобы завести меня.

Пудинг просто остаётся на месте, отблёскивает коричневым у неё на языке. Её глаза быстро моргают, а язык выталкивает пудинг на щёки, чтобы она смогла выговорить:

— О, Виктор, ты узнал?

Заталкивая ложкой следующие пятьдесят калорий ей в рот, говорю:

— Не надо стесняться. Давай глотай.

Она мычит сквозь шоколадную грязь:

— Не перестаю думать, как ужасно было то, что я сделала.

— Ты дала мне жизнь, — говорю.

А она, отворачивая голову от следующей ложки, отворачиваясь от меня, произносит:

— Мне нужно было гражданство США.

Украденная крайняя плоть. Реликвия.

Отвечаю — это не важно.

Тянусь с другой стороны, и проталкиваю ещё ложку в её рот.

Вот Дэнни говорит, что, может быть, второе пришествие Иисуса Христа — не из тех вещей, которыми должен заниматься Бог. Может быть, Бог оставил людям право выработать способность вернуть Христа в свои жизни. Может, Бог хотел, чтобы мы изобрели собственного спасителя, когда будем готовы. Когда нам это понадобится больше всего. Дэнни говорит, может, нам самим положено создать собственного мессию.

Чтобы спастись.

Ещё пятьдесят калорий отправляются ей в рот.

Может быть, с каждым нашим маленьким усилием, мы можем развиваться до того, чтобы совершать чудеса.

Ещё одна ложка коричневого отправляется ей в рот.

Она поворачивается ко мне, её глаза сжимаются в узкие щёлки среди морщин. Язык выталкивает пудинг на щёки. И она спрашивает:

— Какого чёрта ты несёшь?

А я отвечаю:

— Мне известно, что я Иисус Христос.

Её глаза широко распахиваются, а я протаскиваю ещё ложку пудинга.

— Я знаю, что ты прибыла из Италии уже оплодотворённая священной крайней плотью.

Ещё пудинга ей в рот.

— Я знаю, что ты написала обо всём этом в дневнике по-итальянски, чтобы я не смог прочесть.

Ещё пудинга ей в рот.

И я говорю:

— Теперь я знаю свою истинную природу. Что я любящий и заботливый человек.

Ещё пудинг отправляется ей в рот.

— И я знаю, что могу спасти тебя, — говорю.

Мама молча смотрит на меня. Глаза её наполнены полным и

бесконечным пониманием и сочувствием, она спрашивает:

— Какого хуя ты городишь?

Говорит:

— Я украла тебя из коляски в Ватерлоо, в Айове. Я хотела спасти тебя от той жизни, которую ты получил бы.

Материнство — опиум для народа.

См. также: Дэнни со своей детской коляской, набитой краденым песчаником.

Говорит:

— Я тебя похитила.

Сумасшедшая, слабоумная бедняжка, она сама не знает, что несёт.

Заталкиваю ложкой ещё пятьдесят калорий.

— Всё нормально, — говорю ей. — Доктор Маршалл прочла твой дневник и рассказала мне правду.

Заталкиваю ложкой ещё пудинга.

Её рот растягивается, чтобы что-то сказать, а я заталкиваю ложкой ещё пудинга.

Её глаза набухают, и слёзы текут по бокам лица.

— Всё нормально. Я прощаю тебя, — говорю ей. — Я люблю тебя, и пришёл тебя спасти.

С ещё одной ложкой на полпути к её рту, продолжаю:

— Тебе нужно только проглотить вот это.

Её грудь вздымается, и коричневый пудинг пузырится из ноздрей. Глаза закатываются. Её кожа начинает синеть. Грудь снова вздымается.

А я зову:

— Мам?

У неё дрожат руки и пальцы, а голова выгибается, вдавливаясь глубже и глубже в подушку. Её грудь вздымается, и полный рот коричневой дряни засасывается в глотку.

Её лицо и руки всё синеют. Глаза закатились до белков. Кругом запах одного только шоколада.

Жму кнопку вызова медсестры.

Говорю ей:

— Без паники.

Говорю ей:

— Прости. Прости. Прости. Прости...

Она вздымается и бьётся, руками цепляясь за горло. Вот так я, должно быть, выглядел, задыхаясь на публике.

Потом по другую сторону её кровати вырастает доктор Маршалл,

одной рукой отводя мамину голову назад. У меня Пэйж спрашивает:

— Что случилось?

Пытался спасти её. Она бредила. Не помнила, что я мессия. А я пришёл её спасти.

Пэйж наклоняется и выдыхает в мою маму. Снова выпрямляется. Снова выдыхает в мамин рот, и с каждым разом, когда она выпрямляется, всё больше коричневого пудинга размазано у Пэйж вокруг рта. Больше шоколада. Этот запах — всё, чем мы дышим.

По-прежнему сжимая в одной руке пакет пудинга, а в другой — ложку, говорю:

— Всё нормально. Я могу сам. Точно как с Лазарем, — говорю. — Я уже такое делал.

И расправляю руки ладонями вниз над её вздымающейся грудью.

Командую:

— Ида Манчини, я приказываю вам жить.

Пэйж смотрит на меня между выдохами, лицо у неё измазано коричневым. Говорит:

— Вышло маленькое недоразумение.

А я командую:

— Ида Манчини, вы целы и невредимы.

Пэйж наклоняется над кроватью и расправляет руки рядом с моими. Давит изо всех сил, снова, снова и снова. Массаж сердца.

А я говорю:

— На самом деле всё это не нужно, — говорю. — Я правда Христос.

А Пэйж шепчет:

— Дыши! Дыши, чёрт возьми!

И откуда-то выше по руке Пэйж, откуда-то из самой глубины рукава её халата, Пэйж на запястье падает пластиковый браслет пациента.

И тогда все вздымания, биения, хватания и задыхания, всё на свете, — в тот же миг всё на свете прекращается.

«Вдовец» — неподходящее слово, но это первое, что приходит на ум.

Глава 44

Моя мать мертва. Моя мама мертва, а Пэйж Маршалл — шизофреничка.

Всё, что она мне рассказала — её выдумки. Включая идею о том, что я, — ой, даже язык не поворачивается, — что я Он. Включая то, что она меня любит.

Ну ладно, что я ей нравлюсь.

Включая то, что я прирождённый хороший человек. Это не так.

И, если материнство — новый Бог, единственное святое, что у нас осталось, — то я убил Бога.

Называется — «жемэ вю». Французская противоположность для дежа вю, когда все тебе незнакомы, не важно насколько ты считал, будто хорошо их знаешь.

Ну, всё что я могу делать — это работать и шататься по Колонии Дансборо, снова и снова мысленно возрождая прошлое. Нюхая шоколадный пудинг, в который вымазаны мои пальцы. Я встрял на том моменте, когда мамино сердце перестало биться, а заваренный пластиковый браслет показал, что Пэйж — местная обительница. Пэйж, а не моя мама, была больной на голову.

Я был больной на голову.

В тот миг Пэйж подняла взгляд от шоколадной грязи, размазанной по всей кровати. Посмотрела на меня и сказала:

— Беги. Вперёд. Давай выметайся.

См. также: Вальс «Дунайские волны».

Таращиться на её браслет — вот всё, что я мог.

Пэйж обежала кровать, чтобы вцепиться мне в руку, и сказала:

— Пускай думают, что я это сделала, — она потащила меня на выход со словами. — Пускай думают, что это она сама себя, — глянула вверх и вперёд по коридору, потом сказала. — Я вытру твои отпечатки с ложки и положу ей в руку. Скажу всем, что пудинг у неё ты оставил вчера.

Пока мы минуем двери, все они защёлкиваются. Это от её браслета.

Пэйж показывает мне на дверь наружу и говорит, что ближе подойти не может, иначе я не смогу открыть её.

Командует:

— Тебя сегодня здесь не было. Усёк?

Она сказала ещё много всякого, но всё не в счёт.

Я не любим. Я не прекрасная душа. Я не хорошая, дарящая натура. Я ничей не спаситель.

Всё теперь оказалось фуфлом, раз она ненормальная.

— Я только что убил её, — говорю.

Женщина, которая только что умерла, которую я только что удавил шоколадом, — даже не была моей матерью.

— Это был несчастный случай, — возражает Пэйж.

А я говорю:

— Как я могу быть уверен?

Позади меня, когда сделал шаг наружу, кто-то, наверное, нашёл тело, потому что объявляли снова и снова:

— Сестру Ремингтон в комнату 158. Сестра Ремингтон, пожалуйста, немедленно пройдите в комнату 158.

Я даже не итальянец.

Я сирота.

Шатаюсь по Колонии Дансборо со врождённо-изуродованными цыплятами, обитателями-наркоманами и ребятишками из экскурсий, которые считают, что вся эта муть имеет хоть какое-то отношение к настоящему прошлому. Можно притворяться. Можно дурить себя, но нельзя воссоздать то, что уже кончено.

Колодки по центру городской площади пустуют. Урсула проводит мимо меня дойную корову, от обеих разит плановым дымом. Даже у коровы глаза с расширенными зрачками и налиты кровью.

Вот, здесь всегда один и тот же день, ежедневно, и в этом должен быть какой-то комфорт. Точно как в тех телепередачах, где всё те же люди торчат в одиночку на всё том же пустынном острове сезон за сезоном, и никогда не стареют и не выбирают, — просто носят больше косметики.

Здесь — весь остаток твоей жизни.

Свора четвероклассников с криками пробегает мимо. За ними идут мужчина и женщина. Мужчина держит жёлтый блокнот, и спрашивает:

— Вы Виктор Манчини?

Женщина подтверждает:

— Это он.

А мужчина поднимает блокнот и спрашивает:

— Это ваше?

Это мой четвёртый шаг из группы сексоголиков, моя полная и безжалостная моральная опись меня самого. Дневник моей сексуальной жизни. Все мои грехи в перечислении.

А женщина говорит:

— Ну? — требует у мужчины с блокнотом. — Да арестуйте же вы его, наконец.

Мужчина спрашивает:

— Вам знакома жительница Центра по уходу Сент-Энтони по имени Ева Мюллер?

Хомячиха Ева. Она, наверное, видела меня этим утром, и рассказала всем, что я сделал. Убил маму. Ну ладно, не маму. Ту старуху.

Мужчина объявляет:

— Виктор Манчини, вы задержаны по подозрению в изнасиловании.

Девочка с фантазией. Это она, должно быть, дала заявление. Девчонка, которой я испортил розовую шёлковую кровать. Гвен.

— Эй, — говорю. — Да она сама хотела, чтобы я её насиловал. Идея была её.

А женщина отзывается:

— Он лжёт. Он словесно порочит мою мать.

Мужчина начинает зачитывать мне дело Миранды. Мои права.

А я спрашиваю:

— Гвен — ваша мать?

По одной только коже можно точно сказать, что эта женщина старше Гвен на десять лет.

Сегодня, наверное, свихнулся весь мир.

А женщина орёт:

— Ева Мюллер — моя мать! И она говорит, что ты уложил её и сказал, что это у вас секретная игра.

Вот в чём дело.

— Ах, она, — говорю. — А я-то думал, вы про то, другое изнасилование.

Мужчина тормозится посреди своего дела Миранды и спрашивает:

— Вы вообще собираетесь слушать свои права, или как?

Про всё в жёлтом блокноте, говорю им. Про то, что я делал. Просто брал на себя ответственность за каждый грех на свете.

— Видите ли, — говорю. — Некоторое время я ведь и правда считал, что я Иисус Христос.

Мужчина достаёт из-за спины пару наручников.

Женщина отзывается:

— Любой, кто способен изнасиловать девяностолетнюю женщину — псих и есть.

Корчу гримасу отвращения и соглашаюсь:

— Это сто пудов.

А она говорит:

— Ах так, значит теперь ты заявляешь, что моя мать непривлекательна?

А мужчина защёлкивает наручник на одном моём запястье. Разворачивает меня и защёлкивает мне руки вместе за спиной со словами:

— Что если мы кое-куда пройдем и сядем всё проясним?

Перед лицом всех несчастных обитателей Колонии Дансборо, перед лицом наркош и хромых цыплят, ребятишек, которые считают, что получают образование и Его Высочества Лорда Чарли, губернатора колонии, — я задержан. Точно как Дэнни в колодках, только на самом деле.

А в другом смысле, мне хочется заявить им всем, — пусть не думают, что они сами далеко ушли.

Здесь вокруг — все задержаны.

Глава 45

За минуту до того, как я покинул Сент-Энтони в последний раз, за минуту до того, как я вышел в дверь и побежал, Пэйж Маршалл пыталась объяснить.

Да, она была врачом. Говорила торопливо, слова её сбивались в кучу. Да, она была пациентом, которого здесь держат. Быстро выщёлковая и отщёлковая авторучку. На самом деле она была доктором-генетиком, и оказалась здесь пациентом только потому, что рассказывала правду. Она не хотела мне плохого. Её рот всё ещё был вымазан пудингом. Она просто пыталась выполнить работу.

В коридоре, в наш последний миг вместе, Пэйж потянула меня за рукав, чтобы мне пришлось оглянуться на неё, и сказала:

— Ты должен в это поверить.

Её глаза таращились так, что повсюду вокруг зрачков виднелся белок; а её маленький чёрный мозг из волос почти распустился.

Она была врачом, сказала она, специалистом по генетике. Из 2556-го года. И отправилась назад во времени, чтобы забеременеть от типичного мужчины из этого периода истории. Чтобы сохранить и задокументировать генетический материал, сказала она. Им нужен был образец, чтобы помочь победить эпидемию. В 2556-м году. Поездка была не из простых и дешёвых. Путешествие во времени было эквивалентом того, что сейчас для людей космический перелёт, сказала она. То была рискованная и крупная ставка, и если она не вернётся оплодотворённой здоровым зародышем, все дальнейшие миссии будут отменены.

Здесь, в костюме 1734-го, сложившись пополам от забитых кишок, я крепко встрял на её идее типичного мужчины.

— Меня заперли здесь просто потому, что я рассказывала людям правду о себе, — сообщает она. — А ты был единственным доступным мужчиной, способным к воспроизводству.

А, говорю, ну, тогда всё становится гораздо лучше. Теперь всё обретает стройный смысл.

Она просто хотела, чтобы я знал — сегодня ночью её отзовут в 2556-й год. Сейчас мы видим друг друга в последний раз, и она просто хотела, чтобы я знал, как она признательна мне.

— Я глубоко признательна, — сказала она. — И я правда люблю тебя.

И стоя там, в коридоре, в ярком свете восходящего за окнами солнца, я

вынул чёрный фломастер из нагрудного кармана её халата.

Пока она стояла так, что её тень в последний раз падала на стену позади, я начал обводить её контур.

А Пэйж Маршалл спросила:

— Это ещё зачем?

Вот так была изобретена живопись.

И я ответил.

— На всякий случай. На тот случай, если ты в своём уме.

Глава 46

Почти во всех программах реабилитации из двадцати шагов, на четвёртом шаге нужно составить опись своей жизни в зависимости. Каждый уродский, говёный момент своей жизни нужно взять и записать в блокнот. Полный перечень собственных преступлений. Таким образом, они всегда будут держаться у вас в голове. А потом надо все их загладить. Это касается алкоголиков, злостных наркоманов и обжор в той же мере, как и сексуально озабоченных.

Таким образом, можно в любое желаемое время вернуться назад и пересмотреть всё худшее в своей жизни.

Хотя те, кто помнит прошлое, совсем не обязательно хоть в чём-то лучше.

В моём жёлтом блокноте, там всё обо мне, всё изъято по ордеру на обыск. Про Пэйж, Дэнни и Бэт. Про Нико, Лизу и Таню. Детективы просматривают его, сидя от меня по другую сторону большого деревянного стола в звуконепроницаемой комнате. Одна стена из зеркала, а за ней стопудово видеокамера.

А детективы спрашивают меня, чего я рассчитывал добиться, сознаваясь в преступлениях других людей?

Спрашивают меня, что я пытался сделать?

Завершить прошлое, говорю им.

Всю ночь они читают мою опись и спрашивают — что всё это значит?

Сестра Фламинго. Доктор Блэйз. Вальс «Дунайские волны».

То, что мы говорим, когда не можем сказать правду. Что теперь уже значит всё на свете — я не знаю.

Полицейские детективы спрашивают, известно ли мне местонахождение пациентки по имени Пэйж Маршалл. Она разыскивается для допроса в связи со смертью с явными признаками удушения, пациентки по имени Ида Манчини. Явно моей матери.

Мисс Маршалл исчезла прошлой ночью из запертой палаты. Без никаких видимых знаков взлома при побеге. Без свидетелей. Без ничего. Просто растворилась.

Персонал Сент-Энтони подшучивал над её помешательством, сообщает мне полиция, что она, мол, настоящий врач. Ей давали носить старый халат. Так она становилась уступчивей.

Персонал говорит, что мы с ней хорошо спелись.

— Не совсем, — возражаю. — То есть, я с ней виделся, но на самом деле ничего про неё не знал.

Детективы сообщают мне, что у меня не особо много друзей среди персонала медсестёр.

См. также: Клер из Ар-Эн.

См. также: Перл из Си-Эн-Эй.

См. также: Колония Дансборо.

См. также: Сексоголики.

Я не стал интересоваться, не поленились ли они поискать Пэйж Маршалл в 2556-м году.

Роюсь в кармане, нахожу десятицентовик. Глотаю его, он проваливается.

Нахожу в кармане скрепку. Но она тоже проваливается.

Пока детективы просматривают красный дневник моей мамы, я осматриваюсь в поисках чего-то побольше размером. Чего-то слишком большого, чтобы проглотить.

Я давился до смерти годами. Теперь это уже должно выйти легко.

После стука в дверь, вносят поднос с ужином. Гамбургер на тарелке. Салфетка. Бутылка кетчупа. При заторе в моих кишках, вздутии и боли, получается, что я подыхаю от голода, но есть не могу.

Меня спрашивают:

— Что это в дневнике?

Открываю гамбургер. Открываю бутылку кетчупа. Мне нужно есть, чтобы выжить, но во мне и так по уши собственного говна.

«Это итальянский» — говорю им.

Продолжая читать, детективы спрашивают:

— Что это за штуки, похожие на карты? Все порисованные страницы?

Прикольно, но это всё я забыл. Карты и есть. Карты, которые я составлял, когда был маленьким мальчиком, — глупым, легковверным малолетним говнюком. Видите ли, мама говорила мне, что весь мир я могу переоткрыть заново. Мол, у меня была такая власть. Что мне не обязательно было принимать мир таким, каким он выстроился: весь поделенный на собственность и микроконтролируемый. Я мог сделать из него всё, что хотел.

Вот такая она была ненормальная.

А я верил ей.

И я сую пробку от бутылки кетчупа себе в рот. И глотаю.

В следующий миг мои ноги так резко выпрямляются, что стул летит из-под меня вверх тормашками. Руки цепляются за глотку. Стою, таращась

на крашеный потолок, закатываю глаза. Подбородок мой выпячивается далеко вперёд.

Детективы уже привстали со стульев.

Из-за того, что не дышу, у меня на шее набухают вены. Моё лицо краснеет и наливается жаром. Пот струится по лбу. От пота мокнет рубашка на спине. Крепко обхватываю себя за глотку обеими руками.

Потому что мне никого не спасти — ни как доктору, ни как сыну. А раз мне никого не спасти — значит, не спастись и самому.

Потому что теперь я сирота. Я безработный и нелюбимый. Потому что внутри у меня всё болит, и всё равно я подышаю, только с другого конца.

Потому что собственное отбытие надо планировать.

Потому что когда переступишь раз какие-то границы — будешь переступать их и дальше.

И не сбежать из постоянного бегства. Из отвлечения себя самих. Избегания конфронтаций. Переживания момента. Дрочки. Телевидения. Отвержения всего на свете.

Детективы поднимают взгляды от дневника, один из них говорит:

— Без паники. В жёлтом блокноте всё так и сказано. Он просто прикидывается.

Они стоят и смотрят на меня.

Обхватив глотку руками, не могу втянуть ни капли воздуха. Глупый маленький мальчик, который кричал «Волк!»

Как та женщина с полной глоткой шоколада. Та женщина была ему не мамочка.

И в первый раз, насколько хватает моей памяти, я чувствую умиротворение. Ни радости. Ни печали. Ни тревоги. Ни возбуждения. Это просто все верхние части в моих мозгах закрывают лавочку. Кора головного мозга. Мозжечок. Вот где моя проблема.

Я упрощаюсь.

Зависнув где-то в золотой середине между счастьем и горем.

Потому что актинии всегда хорошо проводят время.

Глава 47

Однажды утром школьный автобус притормозил у бордюра, и пока его приёмная мать стояла, махала рукой, глупый маленький мальчик забрался внутрь. Он был единственным пассажиром, и автобус пролетел мимо школы на скорости шестьдесят миль в час. Водителем автобуса была мамуля.

То был последний раз, когда она вернулась забрать его.

Сидя у большой баранки и глядя вверх на него в зеркальном козырьке, она сказала:

— Ты поразишься, насколько легко можно взять напрокат один из таких.

Она свернула к выезду на шоссе и добавила:

— Так у нас появляется хорошая шестичасовая фора, прежде чем автобусная компания заявит об угоне этого драндулета.

Автобус катился по шоссе, а снаружи катился город, и когда перестали каждую секунду попадаться дома, мамуля сказала ему подойти и сесть рядом с ней. Она достала красный дневник из сумки со всякими вещами, и достала карту, сложенную во много раз.

Одной рукой мамуля потрясла картой, развернув ту поверх баранки, а другой опустила возле себя окно. Рулила она коленями. Двигая одними глазами, посмотрела туда-обратно в карту и на дорогу.

Потом скомкала карту и скормила её открытому окну.

Всё это время глупый маленький мальчик молча сидел рядом.

Она сказала взять её дневник.

Когда он попытался отдать его ей, возразила:

— Нет. Открой его на чистой странице, — сказала найти в отделении для перчаток ручку, потому что скоро будет река.

Дорога прорезала всё подряд, разные дома, фермы и деревья, и на секунду они оказались на мосту, ведущем через реку, которая уходила в бесконечность по обе стороны автобуса.

— Быстро, — скомандовала мамуля. — Нарисуй реку.

Как будто бы он только что открыл эту реку, как будто бы он только что открыл весь мир, она сказала ему рисовать новую карту — карту мира только для себя. Его собственного личного мира.

— Не хочу, чтобы ты брал и принимал мир таким, каким его подают, — пояснила она.

Сказала:

— Хочу, чтобы ты открывал его. Хочу, чтобы у тебя была такая способность. Создавать собственную реальность. Собственный свод законов. Хочу попытаться научить тебя этому.

Теперь у мальчика была ручка, и она сказала ему нарисовать в тетради реку. Нарисовать реку и нарисовать горы впереди. И дать им имена, сказала ему. Не теми словами, которые он уже знает, а выдумать новые слова, которые не будут значит на самом деле кучу всякого другого.

Создать свои собственные условности.

Маленький мальчик поразмышлял, держа ручку во рту и раскрытую тетрадь на коленях, и, спустя чуточку времени, всё нарисовал.

А глупо то, что он забыл обо всём этом. Только спустя годы, когда полицейские детективы нашли ту карту. Только тогда он вспомнил, что делал такое. Что мог сделать такое. Что у него была такая власть.

А мамуля рассмотрела его карту в зеркало заднего обзора и отметила:

— Отлично.

Глянула на часы, и её нога вдавилась в пол, и они поехали быстрее, а она сказала:

— Теперь запиши всё в тетрадку. Нарисуй реку на нашей новой карте. И готовься — впереди ещё будет целая куча вещей, которым нужно имя.

Сказала:

— Ведь единственный предел, который нам остался, это мир неосознанного: мыслей, историй, музыки, картин.

Сказала:

— Ведь ничто не окажется настолько совершенным, насколько ты можешь его представить.

Сказала:

— Ведь я не всегда буду рядом, и донимать тебя будет некому.

Но, по правде говоря, малышу не хотелось отвечать за себя, за собственный мир. По правде, глупый малолетний говнюк уже задумал устроить в следующем ресторане сцену, чтобы мамулю арестовали и прогнали из его жизни навсегда. Потому что он устал от приключений, и думал, что его драгоценная, скучная, дурная жизнь прямо будет длиться и длиться вечно.

Он уже сделал выбор между безопасностью, надёжностью, довольством — и ей.

Управляя автобусом коленями, мамуля потянулась, сжала его плечо и спросила:

— Что ты хочешь на завтрак?

И как будто ответ был совершенно невинный, маленький мальчик сказал:

— Корн-доги.

Глава 48

В следующий миг чьи-то руки выныривают сзади и замыкаются вокруг меня. Кто-то из полицейских детективов крепко заключает меня в объятия, замком из двух рук упёршись мне под грудную клетку, и выдыхает в моё ухо:

— Дыши! Дыши, чёрт возьми!

Выдыхает мне в ухо:

— Всё нормально.

Пара рук обхватывает меня, отрывает от пола, и незнакомец шепчет:

— С тобой всё будет хорошо.

Периабдоминальная нагрузка.

Кто-то хлопает меня по спине, как врач хлопает новорожденного, и я выпускаю в воздух крышку от бутылки. Нутро моё рвётся на свободу по штанине, выбрасывая два резиновых шарика и всё дерьмо, над ними скопившееся.

Вся моя личная жизнь сделана общественной.

Скрывать больше нечего.

Обезьяна с каштанами.

В следующую секунду я обрушиваюсь на пол. Хлюпаю носом, а кто-то рассказывает мне, что всё хорошо. Я жив. Меня спасли. Я почти умер. Прижимают мою голову к груди и укачивают меня со словами:

— Успокойся уже.

Прикладывают к моим губам стакан воды и говорят:

— Тише.

Говорят, что всё кончено.

Глава 49

Вокруг замка Дэнни толпятся сотни людей, которых я не помню, но которые никогда не забудут меня.

Уже почти полночь. Вонючий, осиротевший, безработный и нелюбимый, нащупываю дорогу сквозь толпу, пока не добираюсь к Дэнни, который стоит в середине, и говорю:

— Братан.

А Дэнни отзывается:

— Братан, — он разглядывает толпу людей, которые держат камни.

Говорит:

— Тебе совершенно точно лучше бы сейчас здесь не стоять.

После того, как мы были по ящику, весь день, рассказывает Дэнни, все эти улыбающиеся люди объявляются с камнями. С прекрасными камнями. С такими камнями, что не веришь глазам. Рубленый гранит и тёсанный базальт. Выровненные блоки песчаника и известняка. Они приходят поодиночке, притаскивая раствор, лопаты и мастерки.

Все они интересуются, каждый из них:

— А где Виктор?

Так много народу, что они заполнили весь квартал, и невозможно стало делать никакую работу. Каждый хочет вручить камень лично мне. Все эти мужчины и женщины как один расспрашивают Дэнни и Бэт, как я поживаю.

Говорят, что по телевизору я выглядел просто ужасно.

И — стоит только одному человеку похвалиться, как он был героем. Как он был спасителем и как спас Виктору жизнь в ресторане.

Спас мне жизнь.

Термин «пороховая бочка» очень даже точно всё отражает.

На самом краю всего — какой-то герой уже излагает. Даже во тьме можно разглядеть зыбь откровения, бегущую по толпе. Это невидимая граница между людьми, которые ещё улыбаются, и людьми, которые уже нет.

Между остальными, кто ещё герои, и людьми, которые знают правду.

И все, у кого отобрали миг наивысшей гордости, начинают оглядываться по сторонам. Все эти люди, разжалованные из спасителей в дурачки, чуток сердятся.

— Валить тебе надо, братан, — советует Дэнни.

Толпа так густа, что не видно работу Дэнни: колонны и стены, статуи и ступени. И кто-то кричит:

— Где Виктор?

И кто-то другой орёт:

— Дайте нам Виктора Манчини!

И ведь стопудово — я это заслуживаю. Строй солдат. Вся моя перерастянутая семья.

Кто-то зажигает на чьей-то машине фары, и я очерчен у стены пятном света.

Моя тень жутким силуэтом парит над всеми нами.

Вот он я, задуренный малолетний баран, который считал, что можно когда-нибудь зарабатывать достаточно, знать достаточно, иметь достаточно, бегать достаточно быстро, прятаться достаточно хорошо. Трахаться достаточно много.

Между мной и фарами — очертания тысячи людей без лица. Всех людей, которые думали, что любят меня. Которые думали, что вернули мне жизнь. Их испарившаяся жизненная легенда. Потом одна рука поднимается с камнем, и я закрываю глаза.

Из-за того, что не дышу, у меня на шее набухают вены. Моё лицо краснеет и наливается жаром.

Что-то глухо бьёт в землю у моих ног. Камень. Бьётся ещё камень. Ещё дюжина. Сотней больше ударов. Камни грохочут, и земля трясётся. Камни врезаются друг в друга вокруг меня, и все кричат.

Это мученичество Святого Меня.

Мои глаза зажмурены и слезятся, фары сияют красным сквозь мои веки, сквозь мою собственную плоть и кровь. Сквозь мои слёзы.

Ещё больше ударов в землю. Земля трясётся, и люди кричат от усилий. Ещё больше тряски и грохота. Больше ругани. А потом всё становится тихо.

Зову Дэнни:

— Братан.

Всё ещё с закрытыми глазами, шмыгаю носом и прошу:

— Скажи мне, что там творится.

И что-то мягкое, хлопчатое и не особо чисто пахнущее смыкается около моего носа, а Дэнни говорит:

— Дуй, братан.

И потом никого нет. Почти никого.

Замок Дэнни, — все стены обрушены, камни сбиты и раскатились по сторонам при тяжёлом падении. Колонны повалены. Все колоннады.

Пьедесталы опрокинуты. Статуи разбиты. Каменные обломки и куски раствора, осколки кладки засыпали дворы, засыпали фонтаны. Даже деревья расщеплены и подмяты упавшими камнями. Разбитые ступени ведут в никуда.

Бэт сидит на камне, глядя на сломанную статую, которую сделал с неё Дэнни. Не такой, как она выглядит на самом деле, а как она видится ему. Настолько красивая, настолько ему кажется. Совершенная. И теперь сломанная.

Спрашиваю — землетрясение?

А Дэнни отвечает:

— Почти угадал, но здесь было Божье деяние немного другого типа.

Тут камня на камне не осталось.

Дэнни втягивает носом воздух и замечает:

— Братан, от тебя дерьмом несёт.

Мне нельзя покидать город до следующего уведомления, сообщая ему. Меня просила полиция.

В свете фар очертания только одного оставшегося человека. Один лишь сторбленный чёрный силуэт — пока свет не уходит в сторону, и припаркованная машина уезжает.

В свете луны мы с Дэнни и Бэт смотрим, пытаюсь разобрать, кто всё ещё здесь.

Это Пэйж Маршалл. Её белый халат испачкан, а рукава закатаны. Пластиковый браслет на запястье. Её туфли на платформе промокли и чавкают.

Дэнни выступает вперёд и сообщает ей:

— Я извиняюсь, но у нас тут вышло ужасное недоразумение.

А я говорю ему — нет, всё круто. Это не то, что он подумал.

Пэйж подходит ближе и произносит:

— Ну что ж, я всё ещё здесь, — её чёрные волосы все распущены, весь мозговидный пучок. Её глаза опухли и покраснели, она шмыгает носом, пожимает плечами и говорит. — Полагаю, это значит, что я ненормальная.

Мы все смотрим вниз на разбросанные камни, просто камни, просто какие-то коричневые глыбы из ничего особенного.

Одна моя штанина по-прежнему сырая от говна и всё ещё липнет к ноге в промежности, — я говорю:

— Ага, — говорю. — И я, значит, никого не спасаю.

— Э-э, ну, — Пэйж поднимает руку и спрашивает. — Как думаешь — у тебя получится снять с меня этот браслет?

Говорю — да. Попробуем.

Дэнни пробивается сквозь каменные россыпи, перекатывая камни ногой, потом наклоняется и поднимает один. Потом Бэт уходит помогать ему.

Мы с Пэйж молча смотрим друг на друга, на тех нас, кто мы на самом деле. Впервые.

Мы можем растратить все наши жизни, позволяя миру диктовать нам, кто мы есть. Нормальные или ненормальные. Святые или сексоманы. Герои или жертвы. Позволяя истории рассказывать нам, какие мы плохие, или какие хорошие.

Позволяя нашему прошлому решать наше будущее.

Или можем решать сами.

И может быть, наше дело — открыть что-нибудь получше.

В деревьях воркует плакучий голубь. Уже, наверное, полночь.

А Дэнни зовёт:

— Эй, нам бы тут помощь чуток не помешала.

Пэйж идёт, и я иду. Мы четверо зарываемся руками под край камня. В темноте чувствуется его грубость, холод, всё тянется вечно, — и мы, все вместе, боремся только за то, чтобы положить один камень на другой.

— Помнишь ту греческую девушку? — спрашивает Пэйж.

Которая нарисовала контур своего пропавшего любовника? Ага, говорю.

А она продолжает:

— Знаешь, а ведь в итоге она просто забыла его, да изобрела обои.

Звучит диковато, но вот они мы: пилигримы, отморозки нашего времени, — пытаемся установить свою собственную альтернативную реальность. Построить мир из камней и хаоса.

Что из него получится — я не знаю.

Даже после всей этой беготни, мы в итоге закончили здесь: в глубине ничто и в глубине ночи.

И может быть, цель не в знании.

Здесь, где мы стоим в этот миг, посреди развалин во тьме, то, что мы строим — может стать чем угодно.